

В. Л. ЯНИН, А. А. ЗАЛИЗНЯК,
А. А. ГИППИУС

НОВГОРОДСКИЕ
ГРАМОТЫ
НА
БЕРЕСТЕ

ИЗ РАСКОПОК
1997–2000 годов

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ

В.Л.ЯНИН, А.А.ЗАЛИЗНЯК, А.А.ГИППИУС

НОВГОРОДСКИЕ ГРАМОТЫ НА БЕРЕЕСТЕ

(Из раскопок 1997-2000 гг.)

ТОМ XI

МОСКВА
"РУССКИЕ СЛОВАРИ"
2004

К ПРАГМАТИКЕ И КОММУНИКАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЕРЕСТЯНЫХ ГРАМОТ

Вводные замечания

§ 1. Среди ранневосточнославянских письменных памятников берестяные грамоты выделяет особенно глубокая укорененность в повседневной жизни древнерусского общества. За исключением документов церковно-литургического, учебного, литературного и фольклорного характера основной массив берестяных грамот составляют тексты, в той или иной форме отражающие конкретные жизненные ситуации, участниками которых являются авторы грамот и связанные с ними лица, находящиеся между собой в разного рода семейных, денежных, имущественных, торговых и административных отношениях. Соотнесенность текста с конкретной бытовой (в широком смысле слова) ситуацией объединяет такие жанры берестяной письменности, как частные письма и челобитные, всевозможные реестры (долгов, податей, товаров и проч.), частные акты (завещания, рядные, купчие) и другие материалы документального характера (судебные жалобы, протоколы и т. п.).

Отраженная берестяной грамотой ситуация лишь изредка полностью разъясняется в самом тексте, чаще ее приходится реконструировать с большей или меньшей гипотетичностью. Эта реконструкция является важным компонентом комплексной интерпретации берестяных грамот и находится в непростом соотношении с другими составляющими этой процедуры, в частности, с задачей перевода. С одной стороны, адекватное истолкование ситуации грамоты возможно лишь при правильном ее прочтении (идентификации букв, словоделении, членении на синтагмы) и переводе. В то же время одним из главных препятствий к этому нередко оказывается как раз недостаточность ситуативного контекста. Смысл текста (передать который стремится перевод) и его соотношение с внетекстовой действительностью (ситуацией) выступают часто как два взаимообусловленных неизвестных, установить значения которых или, во всяком случае, приблизиться к этому можно лишь путем согласованных встречных усилий филолога и историка.

Восстановлению ситуативного контекста берестяных грамот препятствует в первую очередь фрагментарность большинства находимых текстов. Однако и для грамот, сохранившихся целиком, решение этой задачи иногда сопряжено с очень большими трудностями, что связано уже со специфической прагматикой берестяных грамот и, особенно, наиболее распространенной их разновидности — берестяных писем.¹

А. А. Зализняк, резюмируя наблюдения над текстовой структурой древненовгородских писем на бересте, отмечает как главные две самые общие их особенности: практическую целенаправленность и лаконичность (Зализняк 1987, с. 180). Каким образом второе из этих свойств препятствует реконструкции ситуативного контекста, достаточно очевидно. Что же касается первого, то оно обуславливает полную подчиненность в берестяных письмах описательного, нарративного начала прагматике активного воздействия на адресата. «Древнерусские люди, — пишет А. А. Зализняк (там же), — “брались за писало”, за редкими исключениями, лишь в связи с настоятельной житейской необходимостью». Сообщение фактов, за редкими исключениями, не было для авторов берестяных писем самоцелью; оно осуществлялось лишь постольку, поскольку было необходимо для выполнения соответствующих речевых установок: просьбы, распоряжения, упрека, угрозы, самооправдания и т. д. Об отраженной грамотой жизненной ситуации мы судим поэтому чаще всего на основании косвенных указаний, содержащихся в этих ненарративных элементах текста.

Указанные особенности древнерусской бытовой эпистолографии накладываются на свойства

¹ Применительно к берестяным грамотам термин “письмо” употребляется в настоящей работе как общее обозначение письменных сообщений, посылаемых от одного лица к другому и при этом, как правило, снабженных адресной формулой. Функциональное наполнение этой коммуникативной формы и социокультурный статус таких текстов колеблется в очень широких пределах — от бытовых записок до официальных заявлений и челобитных.

частного письма вообще как письменного жанра, представленного в самых разнообразных культурных традициях. Таковым является в первую очередь ориентация на конкретного адресата, разделяющего с автором письма некоторый фонд общих знаний об окружающей действительности, которым не обладают “посторонние”. Этим частное письмо отличается от официального документа, круг потенциальных адресатов которого может включать (согласно известной актовой преамбуле) “всякого, кто на сей лист воззрит или его услышит”. Приватным характером берестяной переписки объясняется, в частности, то, что упоминаемые в ней лица как правило называются лишь по именам, поскольку их социальные роли полагаются известными адресату. Сходным образом обходятся молчанием и известные адресату факты и обстоятельства (в том числе важные для понимания ситуации), если только автор не хочет специально привлечь к ним внимания адресата. При этом, как отмечает

А. А. Зализняк (1987, с. 180), практически все берестяные письма посвящены “действиям автора и/или адресата (или непосредственно затрагивающим их событиям)”; иначе говоря, участники берестяной переписки являются одновременно и главными фигурантами отраженных ею ситуаций. В силу всего этого на долю остающегося за рамками текста фонового знания ситуации авторами и адресатами писем приходится львиная доля информации, необходимой для ее понимания. Не обладающему этим фоновым знанием исследователю как “постороннему”, для которого текст не предназначался, остается лишь реконструировать ситуацию грамоты на основании ее эксплицированных в тексте фрагментов: ситуация берестяной грамоты, как айсберг, возвышается над поверхностью текста лишь своей верхушкой. Тяжелейшие трудности, с которыми подчас встречается ее реконструкция, в конечном счете — не что иное, как расплата за чтение “чужих писем”.

Бытовая и коммуникативная ситуации. Эталонная коммуникативная ситуация

§ 2. Понятие ситуации применительно к любому устному или письменному высказыванию включает в себя два аспекта. С одной стороны, можно говорить о ситуации как предмете речи, то есть том фрагменте действительности, которого касается содержание высказывания. Такую ситуацию мы условно называем бытовой, и именно о ней в основном говорилось выше. С другой стороны, речь может идти о ситуации общения, в которой протекает речевой акт, или коммуникативной ситуации. Коммуникативная ситуация может рассматриваться как опосредующее звено между бытовой ситуацией и ее проекцией в высказывании.

В изучении берестяных грамот акцент традиционно делается на бытовой ситуации: социальном статусе персонажей грамоты и характере связывающих их отношений. Проблематика коммуникативной ситуации, естественно, так или иначе также затрагивалась в литературе (прежде всего, в работах, посвященных текстовой структуре берестяных грамот и их литературному статусу, см. Ворт 1985,

Зализняк 1987, Факкани 1995, Буланин 1998), однако до сих пор не становилась предметом самостоятельного разбора. Главная причина этого — в кажущейся элементарности коммуникативной организации берестяных писем. Отчасти такое впечатление справедливо: большинство грамот действительно устроено в этом отношении довольно просто, ничем принципиально не отличаясь от современных частных писем и записок; отличия, если и есть, никак не сказываются на переводе и толковании текста.

Между тем, как будет показано ниже, довольно значительное число берестяных грамот обладает своеобразной и непривычной для современного восприятия коммуникативной организацией, без учета которой сами тексты и стоящие за ними бытовые ситуации не могут быть адекватно переведены и истолкованы. Многие противоречия и странности, с которыми до сих пор встречались интерпретация этих текстов, объясняются, на наш взгляд, не специфичностью бытовых ситуаций грамот, но нестандартностью их коммуникативных ситуаций.

§ 3. В основе любой коммуникативной ситуации лежит противопоставление отправителя и получателя сообщения или, что то же самое, автора речи и ее адресата. В устной коммуникации оно реализуется в виде оппозиции говорящего и слушающего. В письменной коммуникации это основополагающее противопоставление осложняется рядом дополнительных коммуникативных функций, которые

могут выполняться специальными лицами. Со стороны отправителя необходимо различать: а) инициативу создания письменного текста, б) составление текста, его вербальное оформление, в) запись. Со стороны адресата — а) прочтение текста и б) его восприятие тем, для кого текст предназначен. Помимо этого письменный текст должен быть еще доставлен от отправителя к адресату.

Таким образом, полная цепочка участников письменного речевого акта складывается из следующих коммуникативных ролей:

- 1) отправитель сообщения (S),
- 2) составитель текста (C),
- 3) пишущий (“писец”, Sc),
- 4) посыльный (курьер, гонец и т. п., M),
- 5) читающий (L),
- 6) получатель сообщения, адресат (Ad).

В определенных ситуациях (например, в дипломатической переписке высокого ранга) каждая из этих коммуникативных ролей может иметь специального исполнителя, то есть имеет место соотношение $S \neq C \neq Sc \neq M \neq L \neq Ad$. Чаще, однако, имеет место та или иная форма их совмещения, которая и определяет специфику коммуникативной ситуации конкретного текста. Отправитель сообщения может совпадать с составителем текста ($S = C$), составитель текста — с пишущим ($C = Sc$), адресат — с читающим ($Ad = L$), пишущий — с посыльным ($Sc = M$) и т. д.

Среди различных форм совмещения коммуникативных ролей целесообразно — ввиду его особой распространенности — выделить совпадение

§ 4. Анализируя коммуникативные ситуации берестяных грамот, мы будем отправляться от представления об “эталонной” ситуации письменного сообщения, определяя специфику конкретных текстов через их отношение к этому “эталону”.² В качестве эталонной будем рассматривать коммуникативную ситуацию, типичную для (современного) частного письма. Такой выбор объясняется не только тем, что к данной категории — со сделанной выше оговоркой — может быть отнесено большинство берестяных грамот, но и тем, что частное письмо как способ общения двух индивидов в принципе представляет собой наиболее элементарную, можно сказать, типичную форму письменного речевого акта: недаром на разных языках этот речевой жанр обозначается тем же словом, что и письменный

² В лингвистической прагматике аналогичную роль выполняет введенное Дж. Лайонзом представление о “канонической” или “полноценной” речевой ситуации. Таковой считается ситуация, удовлетворяющая следующим условиям: “I. Говорящий и слушающий присутствуют в контексте сообщения. II (единство времени). Момент произнесения высказывания говорящим совпадает с моментом его восприятия слушающим. III (единство места). Говорящий и слушающий находятся в одном и том же месте; обычно отсюда следует, что они могут видеть друг друга и имеют общее поле зрения” (Падучева 1996, с. 259). Понятно, что по отношению к этому эталону всякая ситуация письменного сообщения является неканонической.

отправителя (инициатора) сообщения с составителем текста. Эту объединенную коммуникативную роль мы будем обозначать как автора (Au) текста, употребляя это привычное понятие и тогда, когда соотношение указанных функций нам неизвестно или не является предметом обсуждения.

Коммуникативные ситуации могут быть подразделяемы также по признаку наличия у письменного сообщения одного или нескольких авторов и/или адресатов. При наличии у текста более одного автора и/или адресата существенно, выступают ли они как нерасчлененное целое или же по отдельности. В первом случае коммуникативная ситуация ничем принципиально не отличается от ситуации с одним автором (адресатом), с той лишь разницей, что авторское “я” и “ты” адресата заменяются соответственно на “мы” и “вы”. Значительно больший интерес представляет второй случай, когда оформленное как единый текст письменное сообщение распадается на части, обладающие различной ролевой структурой, то есть имеющие разных авторов или адресатов. Тексты такого рода будем называть коммуникативно неоднородными, и им в данной работе будет уделено особое внимание.

текст вообще или сам феномен письма, письменности (ср. русск. *письмо* и лат. *litterae*).

Коммуникативная ситуация, принимаемая нами за эталон, характеризуется следующими признаками:

- 1) сообщение имеет одного отправителя и одного адресата, будучи тем самым коммуникативно однородным;
- 2) отправитель сообщения тождествен составителю текста, являясь таким образом “автором” письма ($S = C = Au$);
- 3) автор и адресат находятся в разных местах, и доставляемое “посыльным” (почтой) письмо служит средством сообщения между ними;
- 4) письмо написано автором собственноручно ($Au = S$);
- 5) письмо читается адресатом самостоятельно ($Ad = L$).

Перечисленным условиям удовлетворяет, по видимому, большинство берестяных писем. Относительно признаков 1 и 3 это можно утверждать со всей определенностью, исходя из содержания грамот. Следует полагать, что нормой было и соблюдение условия 2, хотя в отдельных случаях (например, при написании крестьянских челобитных) можно говорить о несовпадении отправителя сообщения с составителем текста. Сложнее обстоит дело с при-

знаками 4 и 5. Сколько-нибудь точно определить соотношение в фонде берестяных писем текстов, написанных их авторами собственноручно и третьими лицами, не представляется возможным, очевидно лишь, что имело место и то, и другое, причем многие письма писались их авторами самостоятельно (см. Зализняк 1999, с. 303–305). Ограничимся поэтому пока простой констатацией, что коммуникативная ситуация, взятая нами за эталон для сравнения, была и для своего времени преобладающей.

Отклонения от эталонной ситуации — а именно они в первую очередь будут интересовать нас в дальнейшем — возможны как в направлении увеличения числа участников коммуникативного акта,

так и в сторону его сокращения. Первое может иметь место при несоблюдении условий 1, 2, 4 и 5, то есть при появлении дополнительных отправителей и/или адресатов сообщения и при исполнении специальными лицами функций составления, записи и прочтения текста; второе — при несоблюдении условия 3, примером чего может служить записка, которую адресат находит там же, где ее оставил автор, — функции посыльного эта ситуация не предполагает.

Обзор “нестандартных” (по отношению к эталонной) коммуникативных ситуаций начнем с грамот, обладающих свойством коммуникативной неоднородности.

Коммуникативная неоднородность текста и формы ее проявления в берестяных грамотах

§ 5. Рассмотрим сначала случаи, в которых коммуникативный рубеж, разделяющий отрезки текста с разной ролевой структурой, проходит между адресной формулой и основным текстом (содержательной частью) письма.³ Авторов и адресатов, указанных в адресной формуле, будем называть титульными, в отличие от фактических авторов и адресатов основного текста грамоты. Реально представлены две разновидности этой ситуации: 1) письмо имеет двух или более титульных адресатов, но реально обращено к одному лицу; 2) письмо имеет двух или более титульных авторов, но фактически написано от лица одного из них. Приведем все примеры первого и второго типа, выписав из грамот адресные формулы и показательные с точки зрения ролевой структуры фрагменты основного текста; короткие тексты приводятся полностью.

1. Два и более титульных адресата — один фактический.

№ 87 (посл. четв. XII в.) *Ѡ Дрочке Ѡ папа пь-кланяние ко Демьяноу и къ Минѣ и къ Ванукоу и къ въхемо вамо. Добре створа*... Как замечает А. А. Зализняк (ДНД, с. 330), судя по тому, что в грамоте № 87 причастие стоит в ед. числе, “поп Дрочка скорее всего обращался с просьбой фактически к одному лишь Демьяну, а не ко всем адресатам письма”.

³ Заметим, что деление на адресную формулу и основной текст далеко не всегда совпадает с проводимым А. А. Зализняком (1987, с. 148–149) разграничением этикетной и содержательной части письма. Поскольку, однако, у большинства берестяных писем этикетная часть ограничивается адресной формулой, понятия “основной текст” и “содержательная часть письма” используются нами как частичные синонимы.

№ 289 (10-е – 30-е гг. XIV в.) *Поклонъ Ѡ Дорофеа к Осипу съ братеею. Попецалуиса мноу, позвале дворянине Ѡедоре Внездеве внукѣ. А что даси дворянину ...*

№ 690 (40-е – 80-е гг. XIV в.) *Поклоно Ѡ Кура ко Борану і ко Кузми. Возми свою полтину ...*

№ 134 (50-е – 80-е гг. XIV в.) *Приказо Ѡ Григорийъ ко Домонѣ и ко Репеху. Наражса истѣбку и клетѣ, а Недана пошци во Лугу ко Илину дни.*

№ 67 (первое 20-летие XIV в.) + *Поклоно Ѡ Акова ко (Василью и ко Васильевши. Иди, господинѣ), ко Тимофью ...*

№ 370 (стратигр. 70-е – нач. 80-х гг. XIV в.). *Поклонъ ко Юрью и к Миѡсиму Ѡ всихъ сиротъ. Цто ѡси даль намъ за клуцка ... а да намъ смирного члвка. А на томъ тобѣ цоломъ.*

№ 463 (кон. XIII – нач. XIV в.) *Поклонъ Ѡ Ѡедораи Ѡ Коузми и Ѡ хого деслика Сидору и Маѡшо. Перемѣ посадници кунами, неси подаи ...*

2. Два титульных автора — один фактический.

№ 731 (50-е – 70-е гг. XII в.) *Покланание Ѡ Анокъ со Сьлатою ко Аринѣ. ... и ала есмо са емѣ по рѣкѣ ... А кодь ти мнѣ хльбѣ, тѣ и тобѣ.*

Отметим, что из восьми текстов, демонстрирующих данное явление, семь содержат в адресной формуле слова *поклонъ* и *покланяние*. А. А. Зализняк характеризует такие формулы как “почтительные”, противопоставляя их “нейтральным” формулам *отъ X-а къ Y-у, грамота отъ X-а къ Y-у, X молвилъ Y-у* (Зализняк 1987, с. 151). В отличие от нейтральных формул, которые можно определить также как собственно адресные, почтительные формулы вместе с указанием адреса передают приветствие, что сообщает им определенную коммуника-

тивную автономность. Несовпадение ролевой структуры адресной формулы и основного текста грамоты объясняется, надо полагать, именно этим. Поп Дрочка в № 87 сначала приветствует Демьяна вместе с его окружением, а затем обращается с просьбой к самому Демьяну. В № 731 адресата, сваху Ярину, сначала приветствуют оба родителя жениха, после чего речь продолжает уже одна мать. Введение в адресную формулу “лишнего” титульного автора или адресата коррелирует, таким образом, с осложнением ее дополнительной функцией приветствия, имеющего, по сравнению с содержательной частью письма, более широкую адресацию. Так, введение в адресную формулу № 67 имени “Васильевой” функционально аналогично заключительным пассажам современных писем типа “передавайте привет Вашей жене”.

Иначе обстоит дело с грамотой № 134, входящей в блок Григория (ДНД, Г 56). Адресная формула со словом *приказъ*, обычно выражающая в поздних грамотах позицию “сверху вниз” по отношению к адресату, образует с последующим распоряжением определенное единство. Тот факт, что

§ 6. Изменение ролевой структуры может происходить и в пределах основного текста грамоты, который может распадаться на фрагменты, имеющие разных адресатов. Прежде чем перейти к рассмотрению таких случаев, коснемся особой категории грамот, в которых адресат сообщения остается неизменным на всем протяжении письма, а меняется лишь модус обращения к нему. Примером этого может служить грамота № 187 (стратигр. 40-е–60-е гг. XIV в.): ... *поѣдите -- сокорѣа, уѣмли сѣнику и камѣнѣа, и что надоби, вы вѣдаѣте. А поѣдите [д]о пожѣного веремани*. Комментируя этот текст, А. А. Зализняк замечает: “Интересно, что автор обращается к адресатам то во множественном числе, то в единственном — очевидно, в соответствии с тем, думает ли он в данный момент о своем главном адресате или о всей группе людей, которые должны исполнить его указания” (ДНД, с. 503). Такое же чередование форм единственного и множественного числа представлено и в грамоте № 219 (кон. XII — 1 четв. XIII в.): ...*девать гривень възми ... за три гривене възимить верышью*. Собственно говоря, адресат у такого рода текстов один — им является старший в группе, исполняющей распоряжения автора, так сказать, “ответственный исполнитель”. Употребляя формы множественного числа, автор продолжает обращаться к этому единственному адресату — такое же в точности колебание числовых форм возможно и в устном распоряжении, от-

это распоряжение Григорий отдает одной Домне, при том что титульными адресатами являются Домна и Репех, несомненно, объясняется тем, что Репех, как это следует из другой грамоты того же Григория (№ 259/265, см. ниже § 7), находится в подчинении у Домны; приказание готовить избу и клеть относится, следовательно, и к нему. Можно сказать, что, являясь одним из титульных адресатов грамоты, Репех выступает в то же время косвенным адресатом ее основного текста, прямым адресатом которой является Домна. К соотношению титульной и фактической, а также прямой и косвенной адресации берестяных писем нам еще не раз предстоит обращаться.

Следует заметить, что рассмотренные тексты с разной степенью эксплицитности отвечают на вопрос, кто из титульных адресатов или авторов грамоты является фактическим адресатом или автором основного сообщения. Только в трех случаях (№ 289, 67, 731) это явствует из текста с полной определенностью; в остальных пяти можно лишь предполагать, что адресатом основного сообщения является первый из титульных адресатов.

даваемом одному лицу. Таким образом, изменения ролевой структуры текста здесь не происходит.

Нечто похожее имеет место и в грамоте № 644. Ее автор — Нежка, обращаясь к единственному титульному адресату — Завиду, употребляет, естественно, формы единственного числа (*не восолеши, восоли, не даси*), но затем вдруг переходит на множественное (*не сестра а вамо, оже тако дѣлаете, не исправит ми ничетоже*). Р. Факкани (1995, с. 126–127) заключает на этом основании о наличии у письма Нежки, помимо “эксплицитного” адресата — Завида, еще и “имплицитного” адресата, каким, по его мнению, является упомянутый в грамоте Нежата. Вводимое таким образом противопоставление “эксплицитных” и “имплицитных” адресатов во многом созвучно пафосу настоящей работы, однако в данном случае считать Нежату дополнительным адресатом письма вряд ли следует. Примечательно, что Нежка в своем письме употребляет формы единственного и множественного, но не двойственного числа, которые в тексте начала XII в. обязательно предполагало бы обращение к двум лицам. “Это значит, что Нежка имеет в виду не только Завида и Нежату, но также и каких-то других родственников, с которыми она их объединяет” (ДНД, с. 244). Однако считать всех этих родственников адресатами грамоты нет оснований — единственным ее адресатом на всем протяжении текста остается Завид. Обращение во множественном числе несет в пись-

ме Нежки чисто риторическую нагрузку, оно создает эффект обобщения, представляя действия, а точнее бездействие адресата как типичное для ее мужской родни поведение.

Противоположную ситуацию демонстрирует грамота № 725 (2 пол. XII в.): *Ѡ Рьмыиѣ поклананье къ Клима(тѣ) и къ Павъл[ѣ]. ·Б· дѣла, котореи любо потрудиса до владѣчѣ. Съка(ж)ита владѣчѣ мою обиду и мои бои желѣза. А а емоу не дѣлѣжне ничимъже. И молю ва са 'От Ремши поклон Климяте и Павлу. Ради Бога, пусть кто-нибудь из вас (двоих) доберется до архиепископа; скажите архиепископу о моей обиде и о том, как я был бит и закован в кандалы. А я ему (т. е. обидчику) ничего не должен. Прошу же вас'. Грамота имеет двух адресатов, к которым в равной степени обращена просьба автора. Заявление владыке должно быть сделано от лица их обоих, что и передает форма *скажита*. Однако сам поход к архиепископу автор представляет как функцию одного из адресатов, который и должен выступить исполнителем его просьбы.*

К той же категории можно отнести и грамоту № 622 (60-е гг. XIV — нач. XV в.). Автор этого письма, имеющего двух титульных адресатов (*Приказо ѿ Матфеа ко Марк[ѣ] і ко Саве*), начинает с формы единственного числа (*про не[п]рѣнок серебр[о] ...ге донаболиса*), а затем переходит на множе-

ственное: *да а са дивлю, [ц](ем)[ѣ м]не вести ѿ [в]асо нетѣ. Тако ---- (мо)мо животомо зоблетеса ... [не] хоте при(с)[л]ати. Лихо ли вамо, добро ли, і о мо(ю)[м]о животе о Аколи вамо наболи[т]иса мо(мо) приказомо болимо, цюжисмо ли наболити[са. О](же в)[ѣ] тако джете, Бга са бо(те) ----- (б)людите, ни о Сменове то(варе) ----- шлете. По мнению А. А. Зализняка, в первой фразе автор имеет в виду одного Марка, а затем обращается к обоим адресатам. Прагматический смысл противопоставления числовых форм в этом тексте может, однако, быть понят и несколько иначе. Содержательная часть грамоты отчетливо распадается на две части: конкретную просьбу и увещание общего характера, при этом первая выражена в единственном числе, второе — во множественном. Можно думать, что, употребляя форму единственного числа, автор имел в виду, что выполнять это его конкретное поручение будет кто-то один из адресатов (ср. *котореи любо* в № 725), по сути же и эта просьба обращена к обоим.*

Рассмотренные в этом параграфе тексты не могут считаться коммуникативно неоднородными в том смысле, какой мы договорились вкладывать в это понятие: момент переключения на нового адресата в них отсутствует и ролевая структура текста остается постоянной на всем его протяжении.

§ 7. Самые очевидные примеры грамот с коммуникативно неоднородной содержательной частью представляют письма, авторы которых сначала обращаются к одному адресату, а затем к другому, называя этого второго, не “объявленного” в адресной формуле адресата по имени. Таким образом, при одном титульном адресате грамота может иметь двух и более фактических адресатов. Данное явление симметрично уже рассмотренному “исчезновению” в содержательной части письма одного из титульных адресатов. Весьма выразительно эту симметрию демонстрирует переписка Григория. Если в уже рассмотренной грамоте № 134 он формально обращается к Домне и Репеху, а фактически — только к Домне (хотя участие Репеха в выполнении распоряжения здесь подразумевается), то в грамоте № 259/265 соотношение адресатов прямо противоположное: титульным адресатом является здесь одна Домна, тогда как фактическими — также Фовра и Репех, появляющиеся в последней фразе: *А ты, Репехо, слушатѣ Домни, и ты, Фовро*. Ту же модель переадресовки письма (“а ты, X”) находим в письме Максима Онцифоровича (№ 253): ѿ

Маскима ко десасцѣнамо. Дать Мелеану ·ѿ· деже накладо и веши (описка, вм. вереши). А ты, старосто, сberi. Она представлена также в письме Онцифора Лукинича (№ 358), которое, будучи формально адресовано матери, содержит в основном указания управляющему Нестеру; эта часть письма начинается словами: *А ты, Нестере, про чицакъ пришли ко мни грамоту*.

Особый случай употребления данной модели содержит грамота № 831 (сер. XII в.) — письмо от Кузьмы и его детей к Рагуилу “старшему”. Пространное письмо, в котором автор защищает себя от притеснений, чинимых ему адресатом — высокопоставленным административным лицом, заканчивается обращением к другому лицу: *А ты, Степане, пьрьпесаво на харотитию, посьли жь 'А ты, Степан, переписав на пергамен, пошли'*. В отличие от других приведенных примеров, в которых модель “а ты, X” соединяет однотипные в коммуникативном плане фрагменты сообщения, здесь вводимая ею фраза представляет собой метатекст, обращенный к переписчику (см. комментарий к грамоте в настоящем томе и § 27).

Грамоты со скрытой коммуникативной неоднородностью

§ 8. Приведем полностью тексты двух писем Онцифора Лукинича (40-е – 60-е гг. XIV в.), из которых одно уже было упомянуто выше.

№ 354

челомъ битиє к ѡгжи мѣри ѿ Онцифора · вели нестерю · рубль · скопити · да ити · к юрию · к складнику · молиса ѡм | что бы конь купилъ да иди с обросиємъ к Степану жеребии возма · или возметъ рубль · купи и други конь · да проши оу юриа · полтини · да купи соли · с обросиємъ · а михи и серебра не добудеть · до | пути · пошли с нестеромъ симъ · да пошли · б · кози коракую патенъ | польсти · веретица михи и медвидно · вели оу максима оу ключни|ка пшенки попрошати ··

На внешней стороне листа:

и диду молиса что бы ихалъ | в юриевъ · монастырь пшенки по|прошалъ · а сдесе не надиса ·

№ 358

поклонъ ѡспжи мѣри · послалъ ѡсмъ с посадницимъ мануиломъ · к · бѣлъ · к тобѣ · а ты нестере | проуицакъ пришли ко мни грамоту с кимъ будешь послалъ · а в торжокъ прихавъ · кони корми добрымъ синомъ · к житници свои замокъ приложи · а на гумни стои коли молотать · а кони корми ѡвсомъ при | [соби] а в ми[ру] а в [кл](и)т[ь] ржи [с]----- [п]еремиръ и ѡвесъ тако же · а сказываи кому надоби рож ли · или ѡ(весь) ...

Замечательно само сходство этих документов. Оба письма обращены к матери; оба посвящены мелким хозяйственным делам, имеют примерно одинаковую длину. Объединяет эти тексты и имя Нестера; но если во втором письме, как уже говорилось, Нестер является одним из адресатов (причем большая часть письма обращена именно к нему), то в первом он, казалось бы, только упоминается. Стоит заметить, что изучение грамоты № 358 прошло несколько этапов, прежде чем ее ролевая структура, ныне кажущаяся очевидной, была правильно истолкована. На роль Нестера как адресата инструкций Онцифора первым указал Л. В. Черепнин (1969, с. 303); А. В. Арциховский считал мать единственным адресатом грамоты.

Присмотримся внимательнее к композиции грамоты № 354. Онцифор просит мать приказать Нестеру собрать рубль и пойти к его складнику Юрию. Юрия нужно попросить купить коня и, испросив у него полтину, отправиться вместе с Омбросием к Степану, чтобы на собранный рубль попытаться купить у него еще одного коня. С тем же Омбросием нужно купить еще соли, очевидно, на взятую у Юрия полтину.

К кому обращены все эти распоряжения? По мнению А. В. Арциховского, молчаливо разделяемому всеми писавшими о грамоте, адресатом их является мать Онцифора Лукинича. «Мать Онцифора сама должна была вместе с Амвросием идти, взяв “жеребий”, к какому-то Степану, чтобы купить второго коня» (НГБ VI, с. 45). Такое понимание дела вроде бы предполагается логикой развер-

тывания текста, заставляющей относить все императивы к единственному адресату грамоты. И все же предположение, что за конем и солью Онцифор Лукинич посылает вместе с Омбросием собственную мать (при том что отправленный к Юрию Нестер куда-то бесследно исчезает!), кажется выходящим за рамки здравого смысла. При ближайшем рассмотрении оно встречает противоречия и в содержании грамоты. Из текста следует, в частности, что купить соль нужно на деньги, взятые у Юрия, а общение с ним поручено Нестеру. С другой стороны, последовательность фраз *молиса ѡм* [т. е. Юрию], *что бы конь купилъ, да иди с Обросиємъ к Степану, жеребии возма* [у Юрия] также показывает, что поход к Степану с Омбросием, как и просьба к Юрию купить коня, — функции одного лица. Можно, конечно, предположить, что переговоры с Юрием представлены как действие матери, осуществляемое при помощи Нестера; однако остальные формы исключают такое не прямое толкование.

Все эти противоречия снимаются, если допустить, что обращенная Онцифором к матери *пр о сь б а п р и к а з а т ь* Нестеру собрать рубль, пойти к Юрию и т. д. в тексте грамоты плавно перетекает в приказ, обращенный уже к самому Нестеру. По сути дела, перед нами с самого начала приказ Онцифора Нестеру; но до определенного момента он выступает как бы заключенным во внешнюю коммуникативную оболочку, какой является обращение к матери, а затем от нее освобождается.

При таком понимании грамоты № 354 сходство ее с грамотой № 358, и без того значительное,

существенно возрастает: реальными адресатами обоих текстов являются мать Онцифора и Нестер. Разница в том, что переключение на нового адресата, в грамоте № 358 отмеченное конструкцией “а ты, Х”, в грамоте № 354 прямо не выражено.

С точки зрения техники такой переадресации любопытно присутствие в соседних (второй и третьей) строках грамоты № 354 двух внешне похожих сегментов: *да и ти* (к *Июрию к сукладнику*) и *да и ди* (с *Обросиемъ к Степану*). Инфинитив *ити*, грамматически зависящий от императива *вели*, обращенного к матери, лишь одной буквой отличается от императива *иди*, обращенного уже к Нестеру. Он как бы подготавливает смену коммуникативной перспективы, происходящую в следующей фразе. Ее существенно облегчает и то, что семантический субъект глагольного ряда (*скопити, ити, молися, иди, купи...*), являющийся одновременно и объектом приказа, остается неизменным; он лишь меняет свое место в речевой ситуации, превращаясь из третьего лица в адресата сообщения.

Можно понять, зачем этот коммуникативный сдвиг понадобился автору именно здесь. Первый императив, относящийся к Нестеру (*молися*), имеет при себе придаточное с изъяснительно-модальным *что бы*. Продолжение письма в прежнем коммуникативном режиме неизбежно сделало бы фразу слишком громоздкой (*вели ... просить ... чтобы купил*), чего авторы берестяных грамот старались избегать. Онцифор нашел выход в перестройке ролевой структуры письма, выдвинув Нестера на роль адресата.

Замечательна легкость, с которой автор, завершив “инструктаж” Нестера, затем вновь возвращается к прежней коммуникативной перспективе и

продолжает обращение к матери. Начиная со слов *а михи и серебра не добудеть до пути* текст, несомненно, снова обращен к ней. При этом, как и в случае первой смены адресата, какие бы то ни было внешние маркеры очередной переадресации сообщения в тексте отсутствуют. Автор явно не видел никакой необходимости эксплицитно очевидное для адресатов разделение их социальных и коммуникативных ролей — мать Онцифора Лукинича и управляющий Нестер и без этого могли разобраться, кому из них адресован приказ купить коня и соли, а кому — просьба прислать посуду и теплые вещи.

К тому, как реально воспринимался устроенный таким образом текст его адресатами, мы еще вернемся. Пока же сформулируем главный вывод, к которому нас привел анализ писем Онцифора. Согласно нашей гипотезе, коммуникативная неоднородность берестяного письма может выступать как в явной, так и в скрытой форме. В первом случае фрагменты сообщения, предназначенные разным адресатам, соответствующим образом маркируются в тексте; во втором — такая маркировка отсутствует, вследствие чего структура сообщения, очевидная самим участникам коммуникативного акта благодаря наличию у них общего фонового знания ситуации, оказывается скрытой от глаз стороннего читателя, и распознавание ее требует специальных усилий.

Прежде чем продолжить анализ грамот со скрытой коммуникативной неоднородностью, сделаем несколько замечаний общего характера, поместив данный феномен в более широкий лингвистический контекст.

§ 9. Носителю современного русского литературного языка предложенное выше прочтение грамоты № 354 может показаться нарушающим общие принципы построения связного текста и противоречащим здравому смыслу. Аналогичную реакцию у неподготовленного читателя вызывает и такое характерное для берестяных грамот явление, как нарушение принципа проективности (то есть разрыв словосочетания вставкой слова или группы слов, не подчиненных ни одному из его членов, см. ДНД, с. 171–172). “Необъявленное” переключение сообщения на нового адресата создает для интерпретации текста трудности того же порядка, что и, например, дистантное расположение членов именных групп во фразе: *и велѣль ми старѣиѣи мои и сѣмана и ѣмана молотить ваша Иване* ‘А велел мне

молотить весь ваш хлеб (букв.: зерно и семенное и пищевое) старший мой — Иван’ (№ 755).

Сходные затруднения в понимании текста может вызывать и необозначенность в нем границ прямой речи. Это относится не столько к кавычкам, в принципе неизвестным древнеславянской письменности, сколько к вводящим прямую речь глагольным формам типа *рекль, река*, которые в берестяных грамотах сплошь и рядом опускаются. См., например, № 697 (60-е–90-е гг. XIV в.): *... что есте мнѣ велѣли оу Путила конь взати, инъ мнѣ не дать: не виноватъ есмь Кузмѣ. А еще мене зазва(ль) ----родѣ, а рка такъ: за тобою хлѣбъ мои и жи(во)тъ вѣсь*. То, что слова *не виноватъ есмь Кузмѣ* принадлежат Путилу, а не автору, становится ясно лишь из анализа содержания грамоты.

Отсутствие здесь маркирующего прямую речь элемента, при наличии его строкой ниже (*а река*), — явление, вполне аналогичное наличию/отсутствию прямого обращения *а ты, Нестере* в двух письмах Онцифора Лукиничя. В обоих случаях имеет место изменение режима интерпретации текста, которое автор или акцентирует при помощи специального индикатора, или же оставляет необозначенным, полагаясь на способность адресата правильно воспринять структуру сообщения исходя из ситуативного контекста.

Ориентация на ситуацию, а не на логическое развертывание текста, одним из проявлений которой является интересующий нас феномен, свойственна в первую очередь устной диалогической коммуникации и не характерна для литературного языка, стремящегося к логической упорядоченности и эксплицированности смысловых отношений между частями высказывания (см. Живов 2003, с. 287–288). Именно поэтому в древнерусской письменности областью преимущественного распространения черт “ситуационной” организации текста является берестяная переписка, наиболее тесно связанная с разговорным узусом. Это в особенности относится к интересующему нас явлению, так как оно (в отличие, например, от нарушения проективности, широко представленного в летописном нарративе) может быть наблюдаемо лишь в текстах “адресной” структуры, среди которых берестяные письма составляют подавляющее большинство.

Впрочем, отдельные факты, важные для понимания рассматриваемого ниже материала берестяных грамот, можно обнаружить и в текстах других типов. Приведем, в частности, следующее место из Русской Правды пространной редакции: *А се наклады: 12 гривень отроку 2 гривны и 20 кунь, а са-мому ъхати со отрокомъ на дву коню; сущи же на ротъ овесъ, а мясо дати овенъ любо полоть, а инѣмъ кормомъ, что има черево возметъ, писцо 10 кунь, перекладнаго 5 кунь, на мѣхъ двѣ ногатѣ* (ПР, с. 112). Выделенный фрагмент представляет собой последовательность трех инфинитивных предложений, из которых только первое содержит эксплицитно выраженный субъект. При таком развертывании текста естественно было бы ожидать, что этот субъект будет общим для всего ряда. В действительности же субъектом второго и третьего предложений являются вовсе не княжеский дружинник (“сам”) с отроком, а те, кто обеспечивает его поездку. Таким образом, ролевая структура текста меняется в пределах одной фразы, причем какие-либо внешние индикаторы этого изменения отсутствуют.

Подобное безразличие к ролевой структуре, а точнее, свободное манипулирование ею, находим и

в одном из древнейших русских частных актов — новгородской духовной Климента (около 1270 г.). Как и большинство завещаний, духовная Климента написана от первого лица; однако в части, перечисляющей суммы, которые определенные лица остались должны завещателю, его первое лицо неожиданно заменяется на третье: *а на поральское серебро наклада възати Климантъ на Борькъ .ѣ. ногате и грѣна, а оу Савиница съимати Климанте съ Борь--ою пать грѣнь* и т. д. Можно думать, что это делается для большей ясности денежных расчетов: упоминание завещателя по имени в большей степени, чем обозначение его местоимением первого лица, эксплицирует описываемые отношения: Борька, Савинич и другие должны именно Климанте, а не безымянному “мне”. С коммуникативной точки зрения эта экспликация избыточна, так как референция форм 1-го лица однозначно задана интуитивной всей документом: *Се азъ рабъ бѣжи Климантъ...* Для составителя акта, однако, это совершенно неважно, как и то, что при таком построении текста единство его ролевой структуры оказывается нарушенным. Это единство он свободно приносит в жертву убедительности звучания конкретных положений акта.

Особый интерес представляет для нашей темы следующий пример из статьи 1216 г. Синодального списка Новгородской 1-й летописи о битве на Липице. Битве, согласно древнерусскому военному обычаю, предшествовал обмен “речами”, следующим образом описанный летописцем: *И ста Ярославъ и Гюрги съ бра^ткю на рѣче Хзѣ, Мьстиславъ же и Костантинъ и два Володимира съ новгородци стаиша на рѣцѣ Липичи; и Оузрѣиша пѣлкъ стояща, и послаша Лариона сочьскаго къ Гюргю: «кланяемъ ти са, нѣтоу ны съ тобою обиды, съ Ярославомъ ны Обида: поу^с моуж^ж мои новгородьци и новотържьци, и что кси зашьль волости нашеи новгородьскои, Волокъ възпяти; миръ с нами възьми а кр^стъ къ намъ цѣлоуи, а крѣви не проливаиме». Оувѣтаиша же: “мира не хочемъ, а моужси оу мене, а далече ксте шли, и вышли ксте, акы рѣбы на соухо”.*

Обратим внимание на следующие моменты. Речь новгородского посла формально обращена к Юрию, однако начиная со слов *пусти мужи мои...* адресатом ее является уже Ярослав. Механизм такого переключения понятен: упомянув об “обиде”, нанесенной Новгороду Ярославом, летописец, устами посла, начинает излагать содержание этой “обиды” и делает это в форме обращения к самому Ярославу, что никак специально не оговаривается. Получается, таким образом, что речь новгородцев к Ярославу как бы “вложена” в их обращение к

Юрию (сходным образом, как мы видели, в письме Онцифора Лукинича инструкции Нестеру “вложены” в обращение к матери). Кажущаяся алогичность такого построения (ведь сказано, что посольство отправилось к Юрию!) несколько не препятствует правильному пониманию ситуации. Читатель летописи уже знает, что Ярослав и Юрий стояли одним лагерем, и может понять, что в действительности посол был отправлен к ним обоим, и даже в большей степени к Ярославу, чем к Юрию. Конструкция же ‘послали к Юрию: “...”’ — не более чем экономная замена более громоздкого ‘послали к Юрию и Ярославу, сказав Юрию: “...”’; а Ярославу сказали: “...”’.

Не менее важно то, от чьего лица говорит посол. В начале и в конце его речи представлено недифференцированное “мы”, за которым стоит Мстислав с новгородцами и союзными ему князьями; однако требования к Ярославу четко распадаются на сформулированное от лица Мстислава (*поу^с моуж^ж мои новгородьци и новотържъци*) и от лица новгородцев (*что кси зашьль волости нашеи новгородскои, Волокъ въспати*). Аналогично и ответная речь, начавшись от лица всей княжеской коалиции (*Ѡвѣташа же: мира не хочемъ*), продолжается от лица одного Ярослава (*а моужи оу мене*).

Своеобразие такого построения текста, свободное соединяющего в рамках одной большой “речи” высказывания, имеющие разных авторов и разных адресатов, наглядно отражает редакция, которой приведенный пассаж подвергся в летописях XV в. “новгородско-софийской” группы. В Новгородской Карамзинской летописи, ближе всего стоящей к протографу этой группы, он читается в следующем виде:

И узръша плъкы стояща Ярославли и Юрьевы, и послаша Лариона соцкого къ Юрью: “Кланяем ти ся, нѣту намъ с тобою обиды, обида намъ съ Ярославом”. Отвѣща же Юрь: “Одинъ есмь братъ съ Ярославом”. И послата къ Ярославу, ркуше: “Пусти

мужи новгородци и новотържъци, и что зашол еси волости Новгородския, Волокъ вспати, а миръ с нами възми, а крестъ к намъ цѣлуи, а крови не проливаи”. Отвѣща же Ярослав: “Мира не хочу, а мужи у мене, но далече есте или, а вышли есте как рыба на сухо” (НКЛ, с. 108).

Как видим, редакторское перо коснулось в точности тех элементов текста, которые мы отметили выше. Редактор разбил первоначально единую речь новгородского посла, введя ответ Юрия и отдельное обращение к Ярославу, устранил местоимение *мои*, вносящее отличную от новгородской точку зрения Мстислава, и, напротив, заменил множественное число на единственное в ответной речи, тем самым полностью выдержав ее с точки зрения Ярослава.

Выравнивая таким образом коммуникативные “шероховатости” своего оригинала, редактор XV в. руководствовался представлением о правилах построения связного текста, принципиально сходным с тем, которым обладает носитель современного литературного языка.⁴ В эпоху создания оригинала статьи 1216 г. это представление, очевидно, еще не оформилось, во всяком случае — не приобрело характер императива в пределах летописной языковой традиции. Новгородскому летописцу XII в. ничего не стоило, например, составить абсолютно немислимый с современной точки зрения перечень обвинений, предъявленных в 1136 г. Всеволоду Мстиславичу: *а се вины кго творахоу: ·ā· не блюдетъ смердь; ·б· чемоу хотель кси сести Переяславли ·ѣ·е ехаль кси съ плку переди всѣхъ а на то много на початы⁵ · велевъ ны ре^ч къ Всѣволоду пристоупити, а накы ѡстѣпити велить* (НПЛ, с. 24). (Заметим, что тот же редактор XV в. попытался навести порядок и в этом тексте, заменив *чемоу хотель кси* на 3-е л. *хотѣль*.) Подобные образцы языка раннего новгородского летописания следует иметь в виду, анализируя специфику коммуникативной организации берестяных писем.

§ 10. Продолжим разработку нашей гипотезы и рассмотрим текст грамоты Ст. Р. 15 (1 пол. XII в.)

(Ѡ) петра къ василеви вѣдди :з: коунъ и гривьноу възшатѣ
али ти не дастъ а пристави на нь отро
(к)ъ

⁴ Неудивительно, что издатели и исследователи новгородских летописей воспринимают эту отредактированную версию как первоначальную, предполагая утрату текста в обоих изводах НПЛ (см. НПЛ, с. 56, 256, а также Юрасовский 1989, где из данного разночтения делается вывод о более полном отражении летописями “новгородско-софийской” группы текста повести о Липицкой битве).

⁵ Значение слова и синтаксис фразы останутся неясными. Возможно, следует читать: *На почат(ь)и* (‘сначала’) *велевъ ны ре^ч, къ Всѣволоду пристоупити...*

Содержательная часть этого письма складывается из двух фраз вполне стандартной структуры, однако попытка согласовать их между собой наталкивается на серьезные препятствия. Ситуация осложняется тем, что перед *ти* во второй строке имеются две вертикальные черты, напоминающие, по словам издателей, “*и* или *п* без вертикальной черты” (НГБ IX, с. 104). А. А. Зализняк, публикуя грамоту в ДНД, восстанавливает эту букву как *и*, предлагая два варианта перевода: ‘От Петра к Василию. Дай шесть кун и гривну Вышате. Если он идти не даст (другой вариант: Если же он не даст — не указано, что именно), то пошли на него отрока’. Как отмечает А. А. Зализняк, “о существе конфликта можно только догадываться. Очевидно, Вышата либо не разрешает (Василю или Петру) куда-то идти, либо не отдает им какое-то имущество. Петр считает, что гривны и шести кун должно быть достаточно для того, чтобы удовлетворить претензии Вышаты” (ДНД, с. 276). В реконструкции В. Л. Янина ситуация выглядит несколько иначе: “По-видимому, Петр был должен Вышате указанную сумму, добываясь возврата которой, Вышата захватил какое-то имущество Петра. Если Василий, уплатив долг Вышате, не добьется возвращения этого имущества, то на него нужно послать отрока” (НГБ IX, с. 104).

Как видим, сложность интерпретации этого короткого документа отнюдь не сводится к выбору между вариантами *ити* и *ти*. В обоих вариантах перевода смысл инструкции, данной Петром Василию, парадоксален: санкцию в виде посылки отрока предлагается применить не к тому, с кого надлежит получить деньги (что мы находим во всех без исключения остальных документах, упоминающих отроков как судебных исполнителей), а к тому, кому они должны быть переданы, то есть не к должнику, а к займодавцу. Попытки объяснить этот парадокс ведут к реконструкции довольно замысловатых отношений между Петром, Василем и Вышатой.

Между тем имеется возможность понять содержание документа, не прибегая к такой реконструкции. Для этого нужно лишь допустить, что начинающая со слов *али ти не дасть* грамота обращена уже не Василию, а к Вышате, которому предлагается послать отрока на Василя, если тот откажется платить. В таком случае в грамоте Ст. Р. 15 мы имеем дело со столь же элементарным конфликтом, как и в других аналогичных документах. Разница в том, что в нашем тексте оказались контаминированы две модели, по которым может строиться такой документ: 1) “дай такому-то столько-то. Если не дашь, pošлю на тебя отрока” и 2) “Возьми у тако-

го-то столько-то. Если он не даст, пошли на него отрока”. Выбор одной из этих моделей обуславливается обращением к должнику (вариант 1) или же к кредитору (или судебному исполнителю, сборщику податей и т. п. — вариант 2). Петр, автор грамоты Ст. Р. 15, начал свое письмо, обращаясь к Василию, т. е. по модели 1, но, упомянув Вышату, которому надлежало отдать деньги, далее обращается уже к нему, используя модель 2. Важно заметить, что и в такой формулировке фраза косвенно продолжает адресоваться Василию, который из обращения Петра к Вышате должен заключить, какие последствия может повлечь за собой его отказ. Таким образом, будучи титульным адресатом всей грамоты и фактическим адресатом ее первой части, Василь является и косвенным адресатом второй части, формально адресованной Вышате.

Характерно, что фраза, адресатом которой мы считаем Вышату, своим внешним оформлением отличается от обращения к Василию. Утрата левого края грамоты несколько маскирует это отличие, однако исходный вид текста восстанавливается без труда. При этом выясняется, что вторая и третья строки были начаты писавшим не на уровне начала первой строки, но по крайней мере на ширину двух букв правее. Поскольку граница первой и второй строк совпадает с границей фраз, это значит, что всё обращение к Вышате было записано с небольшим отступом. При этом если первая строка (с учетом утраченного \ddot{w}) содержала 40 букв, то вторая — всего 30, таким образом, плотность письма во второй строке на 25% меньше. Благодаря такому размещению текста вторая фраза зрительно воспринималась отдельно от первой, что, видимо, должно было подчеркнуть различие в их коммуникативном статусе.

Предлагаемая трактовка грамоты Ст. Р. 15 способна, как кажется, объяснить и странное начертание во второй строке, в котором до сих пор усматривалось недописанное *и* или *п*. Естественнее, на наш взгляд, видеть в нем недописанное *и*: по всей видимости, Петр сначала по инерции стал строить фразу, обращенную к Василию, и уже начал писать *али не дасть*..., но затем спохватился и, бросив начатое *и*, продолжил в соответствии с изменившейся коммуникативной установкой. Симптоматично направление этой правки. Если бы оно было обратным (т. е. если бы имел место отказ от *али ти не дасть*... в пользу *али не дасть*), можно было бы думать, что смена модели произошла произвольно, спровоцированная упоминанием имени Вышаты. Между тем всё говорит о том, что Петр сознательно отступил от стандартной логики построения текста, адресовав вторую фразу Вышате, а не Василию.

Формулировка угрозы Василию в виде обращения к Вышате могла показаться автору синтаксически более удобной или же более действенной с точки зрения восприятия ее Василем — как бы то ни было, автор явно находил такое построение фразы прагматически оптимальным. И действительно, избранная коммуникативная модель создает своеобраз-

разный “эффект присутствия” в общении автора с его адресатами. Письмо построено так, как если бы Петр давал устные распоряжения стоящим перед ним Василию и Вышате. В этой воображаемой ситуации последовательность реплик, которую находим в грамоте Ст. Р. 15, была бы абсолютно естественной: сказав Василию “дай 6 кун Вышате”, говорящий взглядом или жестом указывает на Вышату и далее обращается уже к нему. Эксплицирующее эту переадресацию “а ты, Вышата” оказывается при этом факультативным или даже излишним.

Этот невербальный компонент речевой ситуации, естественно, отсутствует в ее письменной проекции, что, однако, не препятствует восприимчивости сообщения: автор и без этого имел все основания предполагать в адресатах способность “распознать” относящиеся к ним части текста. Но, помимо этой общей для подобных случаев предпосылки успешной коммуникации, здесь необходимо было также соблюдение еще одного условия: в момент чтения грамоты ее титульным адресатом (Василем) второй адресат (Вышата) должен был находиться рядом — в противном случае обращение к Вышате было бы лишено всякого смысла.

Как конкретно можно представить себе это “совместное” чтение грамоты обоими ее адресатами? Думается, что такое было возможно лишь в одном случае: если грамота была доставлена Васи-

лю посланным к нему Вышатой. В целом ситуацию, в которой была создана и выполнила свою задачу грамота Ст. Р. 15, можно попытаться реконструировать следующим образом. Вышата, желая взыскать долг с Василя, является к Петру как к представителю власти. Петр пишет грамоту Василию, в которой предписывает ему отдать Вышате деньги, а Вышате, в случае отказа Василя, разрешает прибегнуть к услугам отрока (последнее указание, будучи обращено к Вышате, содержит, как уже говорилось, угрозу Василию). Заручившись этой “бумагой”, Вышата направляется к Василию и вручает ему грамоту, демонстрируя тем самым серьезность своего требования. Подлинным “читателем” обеих частей грамоты оказывается, таким образом, ее титульный адресат, Василь; Вышате, как бенефицианту этого документа, его содержание с самого начала известно.

Понятая таким образом, грамота Ст. Р. 15 предстает перед нами как документ с очень своеобразной прагматикой. Это, по существу, не столько письмо Петра к Василию, сколько своего рода “мандат”, выданный Петром Вышате и выполняющий двоякую функцию: с одной стороны, он предписывает должнику (Василю) отдать деньги предьявителю (Вышате), а с другой — уполномочивает предьявителя в случае отказа применить соответствующую санкцию.

§ 11. Грамота № 509 (стратигр. 50-е–70-е гг. XII в.)

оу воислава възъми :і: коунъ истинь а :е: коунъ намомъ
не въдале дъвоихъ намъ ; оу нѣжать възъми деса
ть коунъ и гривнюо ; оу боудотъ възъми гривнюо на
мѣною ;: оу боана възъми шестѣ коунъ намъноюу
озеревахъ а отрокоу въдаите по коунѣ мужь

Грамота представляет собой распоряжение сборщику податей, то есть принадлежит к довольно распространенной категории берестяных документов. Несколько необычным этот текст делает появление в конце его, после четырехкратного *възъми*, формы множественного числа *въдаите*. На первый взгляд это колебание кажется аналогичным тому, какое мы наблюдали выше в относящейся к тому же типу грамоте № 219, где чередуются формы *возми* и *возмите*, в зависимости от того, выделяет ли автор главного адресата в группе выполняющих его распоряжение лиц или нет. Трактовка грамоты, предложенная в издании, основывается именно на таком понимании дела. Согласно издателям, речь в грамоте идет «о поездке группы “мужей”, принимающих участие в доходах от ростовничества, для сбора процентов и возвращения

самих данных взаймы сумм по истечении срока займа. <...> Вместе с “мужами” едет помощник, который получает вознаграждение от каждого участника этой поездки» (НГБ VII, с. 105).

Сомнения в правильности такой интерпретации вызывает предполагаемый ею состав группы сборщиков. Она должна была состоять из по меньшей мере четырех человек: трех “мужей” и отрока (если бы “мужей” было двое, в тексте стояла бы форма двойственного числа). Нужно предполагать также, что из трех мужей один — к которому относятся императивы *възъми* — является старшим. Кажется странным, что столь представительная компания отправляется за в общем-то незначительными суммами: с четырех должников надлежит собрать в общей сложности две гривны и тридцать одну куну. Для сравнения: в грамоте № 219 речь

идет о суммах общей сложностью более двадцати гривен, причем значительную часть предписывается взять натуральным продуктом (упоминаются, в частности, пятнадцать кадей овса), что оправдывает участие в поездке нескольких лиц. В грамоте № 509 фигурируют только деньги, что вообще характерно для раннего периода. Порядок сбора разного рода денежных платежей отражен в домонгольскую эпоху целым рядом источников. Как правило, их сборщики ездили вдвоем, причем пару могли составлять как “муж” и “отрок” (что засвидетельствовано, например, “поконом вирным” в Русской Правде), так и два отрока (см., например, грамоты № 831, Ст. Р. 12). С другой стороны, отрок мог действовать и в одиночку, что также отражено значительным числом грамот (№ 241, Ст. Р. 6, Ст. Р. 15 и др.). Ситуацию, в которой один отрок сопровождает в поездке нескольких “мужей”, В. Л. Янин реконструирует только на основании рассматриваемого документа (Янин 2001, с. 41).

Не в пользу такой реконструкции говорит и одно чисто графическое обстоятельство. Заключительная фраза грамоты содержит характерный пример стилистической правки, детально разобранный А. А. Зализняком: «Сперва автор написал *a отрокоу въдаите по коунѣ оу моужа* “а отроку дайте по куне у (каждого) мужа”, но фраза показалась ему плохой (по-видимому, справедливо: такое управление закономерно лишь для фразы типа “пусть отрок получит по куне у мужа”). Тогда он ее стилистически улучшил: заменил *оу моужа* на *моужь* (“каждый муж”). Для этого он зачеркнул предлог *оу* и приписал к *моужа* другое окончание — *ь*, но зачеркнуть *а* он при этом забыл или не счел нужным» (НГБ VIII, с. 111). Как выяснилось впоследствии (НГБ X, с. 112), буква *а* была в действительности также зачеркнута, то есть правка была осуществлена до конца. Возникает вопрос: чем была вызвана первоначальная неудачная формулировка? Изложенная выше трактовка ответа на него не дает.

Объяснение этой правки, устраняющее и аномальность ситуации в целом, заключается, на наш взгляд, в признании документа коммуникативно неоднородным. Коммуникативный рубеж проходит после слова *Озервахъ*, которым заканчивается ос-

новной текст, обращенный к сборщику платежей. Заключительная же фраза грамоты адресована уже тем, с кого надлежит собрать означенные суммы, то есть Воеславу, Нежате, Будоте и Бояну — это они должны заплатить отроку по куне вдобавок к основному платежу. Таким образом, как и грамота Ст. Р. 15, грамота № 509 может быть понята как содержащая обращения к обоим взаимодействующим сторонам: сборщику платежей и самим плательщикам.

В рамках такого понимания структуры текста конкурирующими оказываются два толкования ситуации. Согласно первому, в поездке принимают участие два лица — сборщик и его помощник (отрок), причем автор сначала дает распоряжения сборщику, а затем, обращаясь к плательщикам, предписывает каждому из них дать отроку по куне. В этой ситуации нужно предполагать, что сам сборщик получает какой-то процент от платежа, тогда как отрок — фиксированную куну. Второй вариант предполагает, что сбор платежей осуществляется одним отроком, действующим самостоятельно и получающим за свой труд по куне с каждого из должников. В обоих случаях переправленное *по коунѣ оу моужа* предстает как рудимент первоначального замысла, от которого автор по ходу написания грамоты решил отказаться. Это могла быть или безличная фраза **а отрокоу възати по коунѣ оу моужа* (если основной текст понимать как обращенный к отличному от отрока сборщику), или, во втором случае, обращенная, как и основной текст, к отроку фраза **а собѣ възми по коунѣ оу моужа* (ср. аналогичное построение текста в № 640: *оу д[ь]акѣ оу Хоудьца · г · рѣзанѣ, а собѣ [коу]ноу, а оу Добрыцевичъ оу Романи[ца] к[оу]ноу, а собѣ [коу]ноу* ----- *(коу)ноу, а собѣ коуноу*). Как бы то ни было (а отдать предпочтение одному из вариантов затруднительно), писавший в какой-то момент решил построить фразу иначе, для большей убедительности адресовавшись непосредственно к плательщикам, но сразу перестроиться не смог. Аналогичной инерцией исходной модели в Ст. Р. 15 объясняется, как мы видели, недописанное *и*, также отражающее изменение коммуникативной стратегии по ходу написания грамоты (**али не даси* → *али ти не дасть*).

§ 12. Грамота № 420 (30-е – 60-е гг. XIII в.)

Ѡ панка къ захарь · и ко шга·фонуу продалъ есмь сорокъ
 бобровъ милате на десяти гривнъ сьеребра олна же ·
 възьмъ сьеребро то же дди бобры а да[и] сьеребро за-
 харьи

Перевод в ДНД: ‘От Панка к Захарье и к Огафону. Я продал Миляте сорок бобров за десять гривен серебра. Когда получишь деньги, тогда отдай бобров. А деньги отдай Захарье.’

Комментируя грамоту, издатели пишут: “Письмо, адресованное Захарии и Агафону, кончается поручением дать серебро Захарии. Очевидно, это сказано Агафону, а двойной адрес обязывает его показать письмо Захарии для ясности расчетов. Агафон, вероятно, приказчик или младший родственник Панка, продавшего бобров. Бобры эти хранились у Агафона, он должен был получить от покупателя их цену. В свою очередь Панко должен десять гривен серебра Захарии, которому Агафон уполномочен вернуть этот долг” (НГБ VII, 28). А. А. Зализняк также считает, что “хотя грамота адресована двум лицам, автор фактически дает распоряжения только одному из них — Огафону” (ДНД, с. 391–392).

Очевидно, что коммуникативно неоднородным данный текст должен быть признан при любом истолковании. Единодушное мнение интерпретаторов противопоставляет в этом отношении адресную формулу основному тексту письма. Однако видеть в Огафоне единственного фактического адресата грамоты мешает ряд моментов. Непонятно, во-первых, почему в таком случае имя Огафона названо в адресной формуле вторым, а имя Захарии, только упоминаемого в самом конце письма, — первым. Неясно также, в чем состояла большая ясность расчетов, для которой, по мысли издателей, Огафон должен был показать письмо Захарии. Если Панко действительно был должен Захарии, то последнего едва ли могли интересовать детали происхождения возвращаемой суммы. Наконец, как мы уже видели (§ 6), практически во всех случаях, когда письмо, реально обращенное к одному лицу, имеет двух и более титульных адресатов, его

адресная формула является одновременно приветственной и включает слова *покланание* или *поклонь*. Грамота № 420 была бы единственным исключением из этого правила.

Избежать этих трудностей позволяет альтернативная трактовка ситуации грамоты, предполагающая коммуникативную неоднородность ее содержательной части. Распределение ролей четырех персонажей грамоты видится нам следующим. Панко и Милята — состоятельные новгородцы, договорившиеся о продаже бобров. Захарья — приказчик Панка, у которого в данный момент находятся бобры. Огафон — приказчик Миляты, ведающий его деньгами. Первая фраза имеет в виду обоих адресатов, в ней Панко констатирует сам факт состоявшейся сделки. Вторая фраза обращена к Захарье и содержит предписание ему отдать бобров Огафону только по получении у того денег. Третья фраза обращена уже к Огафону: ему предписывается дать деньги Захарье. Таким образом, последовательность имен адресатов в адресной формуле в точности соответствует последовательности обращения к ним в основном тексте. Ситуация же в целом предстает вполне симметричной и кажется более правдоподобной, поскольку вырученные за бобров деньги поступают самому продавцу, а не отдаются в третьи руки.

По-видимому, как и предположили издатели, грамота должна была быть предъявлена одним адресатом другому, однако не Огафоном Захарье, а наоборот. Именно Захария должен был показать грамоту Огафону, чтобы тот убедился в полномочиях своего контрагента взять у него серебро и в том, что Захарья исполняет наказ своего патрона, требуя деньги вперед. Таким образом, мы снова встречаемся с ситуацией, когда грамота функционирует как “мандат” — в данном случае на осуществление торговой операции.

§ 13. Рассмотрим в интересующем нас аспекте два письма Максима Онцифоровича (50-е–70-е гг. XIV в.).

№ 177

поклоно ѿ максима ко попу
у дай ключи фоми а тѣ
ѣ поши григорию ѿнеѣ
ѿфимова что б(у)[д]ѣ наѣ
доби ---ат-----ѣ
ѣ фома

Перевод: ‘Поклон от Максима попу. Дай ключи Фоме — пошли Григория Онфимова. Если что будет надобно, ... (может быть: из товара [из припасов], то доставит) Фома’.

№ 253

ѿ максима ко десасцанѣ
амо дать мелеяну ·й· дѣ
еже накладо и вешн
а ты старосто сѣбри

Перевод: ‘От Максима к десятчанам. Дать Мельяну (Емельяну) 8 кадей [зерна — само] зерно и наклад (т. е. проценты). А ты, староста, собери’.

Комментируя второй документ, А. А. Зализняк замечает, что, “как и в ряде других берестяных грамот, здесь автор письма сперва обращается к одному адресату, а потом к другому” (ДНД, с. 489). Думается, что такая же смена адресата имеет место и в № 177, где она, однако, до сих пор не была рас-

познана. Трактовка императивов *даи* и *пошли* как обозначающих действия одного лица (попа) делает труднообъяснимым появление разделяющего их *а ты*. Поскольку такое же *а ты* есть и в № 253, где оно маркирует смену адресата, естественно считать, что ту же функцию этот элемент выполняет и в другом письме Максима. В таком случае *а ты пошл(и) Григорию Онефимова* сказано уже не попу, а Фоме, названному в конце предыдущей фразы.⁶ Это упоминание делает излишним повторение имени в вокативе, заставляя воспринимать последующее *а ты* как имплицитующее этот вокатив (*а ты, [Фома]*, ...).

Можно думать, что за ключом к попу должен был явиться с настоящей грамотой не сам Фома, а посланный им по распоряжению Максима Григо-

§ 14. Сходство коммуникативных ситуаций разобранных выше грамот не ограничивается их неявной коммуникативной неоднородностью, но носит более специальный характер. Во всех этих текстах (если наша трактовка отраженных ими ситуаций верна) адресатами грамоты являются лица, связанные между собой двусторонним отношением передачи некоторого объекта (денег, продукта, ключа и т. д.). Сама же грамота выступает при этом как документ, призванный подтвердить полномочия одной из сторон в глазах другой.

Отношение передачи принадлежит к числу семантических конверсивов и описывается в языке при помощи эквивалентных по смыслу соотносительных конструкций с противоположной ролевой структурой. Фразы “X дал Y-у рубль” и “Y взял у X-а рубль” по-разному обозначают одно и то же. Соответственно, с точки зрения третьего лица, контролирующего эту ситуацию, синонимичными и обладающими одной и той же предметной отнесенностью (референцией) будут конструкции «дай Y-у рубль» и «возьми у X-а рубль». Специфика рассмотренных текстов — в том, что эти две формы представления одной и той же бытовой ситуации, обычно находящиеся в дополнительном распределении, в них совмещены. Тем самым ролевые структуры частей, на которые распадается грамота,

оказываются обратными: адресат первой части упоминается во второй как объект действия адресата, и наоборот, объект действия адресата первой части во второй сам становится адресатом.

Понятно, что в действительности каждый из адресатов устроенной таким образом грамоты воспринимает ее текст полностью, а не только в части, адресованной ему непосредственно. Более того, текст может писаться именно в расчете на его полное прочтение одним из адресатов. Разбирая грамоту Ст. Р. 15, мы видели, что обращение к Вышате по существу содержит угрозу Василию и, таким образом, косвенно адресуется ему. Точно так же в грамоте № 509 предписание сборщику взять указанные суммы с перечисленных лиц косвенно адресуется самим плательщикам (которым напрямую адресована последняя фраза): с их точки зрения оно может быть прочитано как требование эти суммы заплатить. В грамоте № 420 косвенным адресатом обращения к Захарии является Огафон, в грамоте № 177 косвенным адресатом обращения к Фоме является поп и т. д. Таким образом, на противопоставление титульной адресации грамоты и ее фактической адресации накладывается противопоставление прямой и косвенной адресации отдельных частей, из которых складывается сообщение.

§ 15. Другой аспект рассматриваемого явления демонстрирует грамота № 406 (сер. XIV – нач. XV в.)

... | и рибѣи и масло [и си]р[и] а [то п]р[а]з[к]а [·г· го]д(о) ----[даи]
 то а ми тоби ѿгнѣ ѿфоносе клапаемсе а даро ведаѣ
 еше ·г· куници ·г· годо а поцне прошати жени или синови
 жени ·г· бели а сину белка

¹ На возможность такого понимания фразы впервые указал Л. В. Черепнин (1969, с. 216).

Для конца первой строки А. А. Зализняк предлагает конъектуру (*a ve*)[*dau*] или (*ouve*)[*dau*].

Перевод: ‘... и рыбы и масло и сыры — это празга (арендная плата) за три года, [ты знай (?)] это. А мы тебе, господин Офонос, кланяемся. А дар (оброк) ты знаешь: три куницы за три года; а если он (кто-то упоминавшийся в утраченной части грамоты) начнет просить для жены или для сына, то жене две белки, а сыну белка’.

Характеризуя этот текст как “договор крестьян с феодалом об уплате натурального оброка” (НГБ VII, с. 11), издатели указали на ближайшую аналогию ему в грамоте № 136 (40-е – 70-е гг. XIV в.). Оба документа, действительно, трактуют об одном и том же, но по-разному. В отличие от грамоты № 136, оформленной по всем правилам дипломатики (см. начальную формулу *се доконецаху*), грамота № 406 написана в форме обращения к феодалу. В этом ключе была первоначально трактована и последняя фраза документа. Согласно ее переводу в издании, в роли просителя здесь выступает сам феодал: “а если попросишь жене или сыну...” (НГБ VII, с. 11). Этот перевод был подвергнут критике А. А. Зализняком, отметившим, что наличие в тексте формы 3-го лица *почне* исключает возможность такого толкования фразы. Сам А. А. Зализняк считает поэтому, что здесь имеется в виду кто-то другой, упоминавшийся в утраченной части грамоты. Такое понимание текста отражает и приведенный выше перевод в ДНД.

Лингвистически такая позиция столь же безупречна, сколь убедительна в историческом отношении позиция издателей, полагающих, что в последней фразе речь идет о жене и детях феодала. Аналогия с грамотой № 136, также содержащей обязательство давать “детям по белке”, не оставляет никаких сомнений: начать “просить” дополнительного оброка для жены и детей может только тот, кому предназначаются основные подати.

Разрешить этот парадокс, примирив правду историка с правдой лингвиста, позволяет признание грамоты № 406 коммуникативно неоднородной, состоящей из двух частей: обращения крестьян к феодалу, извещающего его о размере оброка и арендной платы, и указания крестьянскому представителю на случай, если феодал не удовлетворится предложением и начнет просить большего. Последняя фраза как раз и содержит такое указание. Можно думать, что окончательный размер оброка определялся в результате торга крестьян с феодалом; об этом свидетельствует и грамота № 136, где к основному тексту ниже более мелким почерком приписано *борань оу новину* — очевидно,

позднейшее добавление, сделанное в процессе переговоров по настоянию феодала. Разница между двумя документами — в том, каким образом они отражают эту ситуацию торга. Грамота № 136 сразу оформлена как договор и в процессе торга была лишь слегка отредактирована. Грамота № 406 — документ иного типа, носящий черновой, предварительный характер. В части, обращенной к феодалу, грамота содержит только исходное предложение крестьян. Их посланец должен был, по-видимому, зачитать это предложение феодалу и ждать его реакции, имея при себе на том же берестяном листе письменную инструкцию общины по дальнейшему ведению переговоров.

Итак, в составе грамоты № 406 отчетливо выделяется основной текст, имеющий быть зачитанным феодалу, и метатекст, предписывающий, как вести себя крестьянскому представителю. Особая ценность грамоты № 406 — в том, что ее коммуникативная неоднородность, не будучи эксплицитно маркирована, устанавливается тем не менее с полной однозначностью, подтверждая реальность существования тех нестандартных коммуникативных моделей, которые в других случаях мы предполагаем с большей или меньшей гипотетичностью.

Структурную аналогию прочитанной таким образом грамоте № 406 представляет в более позднюю эпоху такой письменный жанр, как посольская “наказная память”. Такие памяти выдавались в XVI в. русским дипломатам и содержали, во-первых, тексты речей, которые посылаемое лицо должно было произнести от лица московского государя, и, во-вторых, инструкцию, как вести себя дальше по ходу аудиенции (переговоров, встречи иностранного посла и т. д.), что отвечать на те или иные вопросы и т. д. Как образец этого жанра приведем начало наказной памяти, выданной в 1581 г. Захарье Михайловичу Болтину, отправлявшемуся в Холмогоры для встречи английского посла Джерома Боуса: «*А приѣхавъ на Колмогоры, говориши от джера рѣчь Елизаветь-королевину послу Еремѣю Боусу: “Бога въ Троицы славимаго милостыю великий государь царь и великий князь Иванъ Васильевичъ всеа Русии ... (полный титул), тебѣ, сестры своей любнои королевны Елизаветы Аглинскои и Францовскои, и Хибирскои, и иныхъ послу Еремѣю Боусу велѣлъ поклонитися. Божиею милостыю великий государь царь и великий князь Иванъ Васильевичъ велѣлъ тебѣ о здоровье спросити: здорово ли еси дорогою ѣхаль?” А будетъ о чемъ Захарья спроситъ посол о котормъ о посольскомъ дѣле, и ему отказати: я у государя парбокъ молодои — о такихъ о большихъ дѣлехъ говориши не пригоже, да не говориши ни о которыхъ о большихъ дѣлехъ, а розговаривати о рядовыхъ дѣлехъ, о которыхъ пригоже»* (Англ., 74–75).

При всем различии ситуаций, несомненное структурное сходство этого документа с грамотой № 406 позволяет и в последней видеть (конечно, с известными оговорками) своего рода “наказную память”, выданную крестьянскому представителю на переговоры с феодалом.

§ 16. Сходную коммуникативную организацию имеет на наш взгляд, и смоленская берестяная грамота № 12 (сер. XII в.). Текст ее написан на двух сторонах берестяного листа.

Внутренняя сторона

(Ѡ) [и]вана ко русиле въправи ми дѣбр...
---ю арине възьми оу кнѣзюа грѣноу оу неж[А]...
ал[и] ти не въдасть а възьми (в)ъ треть а ати ...
къ да же ти ми боудете дѣбр[о] (а) присълоу ти ...
оже хъчѣши пѣ-ъне а присъли -----[є] чѣлѣв[є](к)...

Внешняя сторона

чи ти почѣнете (ч)ѣтъ лести(ти) ...
а не мѣзи чѣтъ (м)ѣлѣвити

Перевод в ДНД: 'От Ивана к Русиле. Добудь мне хороший (-ую, -е, -их и т. д.) ... Возьми гривну у Конозюя Нежатица (*или*: брата, Нежатица внука и т. п.). Если же он не даст, то займи в треть, а взять ... Если у меня [всѣ] будет хорошо, то пришло тебе ... Если хочешь ..., то пришли ... человека ... Если же он (из контекста неясно, кто именно) начнет как-либо хитрить (?) ..., то не вздумай (букв.: не моги) ничего сказать'. Попытку более полной реконструкции текста грамоты см. в § 27.

Коммуникативные ситуации берестяных грамот: статус посылного

§ 17. Две рассмотренные выше категории берестяных грамот объединяет, помимо общего свойства коммуникативной неоднородности, следующий признак: один из адресатов этих текстов является одновременно лицом, доставляющим грамоту к другому адресату, то есть, пользуясь принятой выше терминологией, посылным или курьером.² Статус посылного является вообще весьма важным признаком, противопоставляющим коммуникативные ситуации. Имеет смысл различать собственно курьеров и "курьеров-персонажей". Функции первых (выступающих в эталонной коммуникативной ситуации) исчерпываются доставкой адресату данного письма; к отраженной грамотой бытовой ситуации такой посылный никакого отношения не имеет. Курьер-персонаж, напротив, сам является участником этой ситуации, выполняя, по-

² Подчеркнем условность такого словоупотребления. Очевидно, например, что посылным в обычном смысле слова не может быть назван Вышата из грамоты Ст. Р. 15, сам являющийся бенефициантом этого документа. Расширенно употребляя данное понятие, мы вкладываем в него чисто коммуникативное содержание, обозначая таким образом лицо, при посредстве которого автор сообщения вступает в контакт с адресатом (или с одним из адресатов).

Судя по расположению текста на внешней стороне, он не является прямым продолжением предыдущей фразы, да и по смыслу с ней плохо согласуется. Связать эту приписку с кем-то из лиц, упомянутых в тексте письма, тоже затруднительно. Это явно не может быть "человек", которого Русила должен прислать к автору письма. Теоретически это мог бы быть Конозюй, у которого Русила должен взять гривну, но хитрить перед занимающим у него деньги Русилой ему вроде бы незачем. Между тем начало фразы: *чи ти поченете чѣтъ лести* удивительно напоминает последнюю фразу № 406 (*а поце прошати жени или синову*), прогнозирующую возможную реакцию адресата на сообщаемое ему известие. Очень похоже, что и здесь перед нами метатекст — указание автора письма тому, кто понесет это письмо Русиле. Предвидя, что Русила может не захотеть выполнить его достаточно сложное поручение и начать "хитрить", отговариваться, Иван запрещает своему посланцу вступать с ним в переговоры, тем самым отнимая у Русилы возможность избавиться от возложенного на него поручения. Отметим и содержательное сходство этой инструкции с приведенной выше памятью Захарье Болтину, также запрещающей ему вести самому какие-либо серьезные разговоры с послом.

мимо "почтовой", также какую-то другую функцию, указанную в грамоте. Позволив себе вольную, но достаточно точную лингвистическую аналогию, можно сравнить собственно курьеров с союзами, соединяющими части сложного предложения, не являясь при этом их членами, а курьеров-персонажей — с союзными словами, входящими в грамматический состав придаточного предложения.

Курьер-персонаж может быть одним из адресатов грамоты или же упоминаться в ней в третьем лице. В рассмотренных выше грамотах "взаимного действия" обе эти возможности совмещаются. Так, в грамоте Ст. Р. 15 посылный (Вышата) является объектом действия адресата первой части письма (Василя) и адресатом второй части. Чаще встречаются грамоты, в которых реализуется только одна из этих возможностей. В грамотах типа № 406 и Смол. 12 посылный является адресатом метатекста. С другой стороны, существует значительная категория коммуникативно однородных грамот с курьером-персонажем, упоминаемым в 3-м лице.

Таковыми посылными являются в первую очередь "податели сего", выступающие в текстах, подобных грамоте № 735 (сер. – 2-я пол. XII в.): + Ѡ Акима и Ѡ Сьмьона къ Дѣмитроу. Въдаи паробѣкоу

семоу конь полоубоувив же шизыи и сътвори добръ помощи емоу поправити любо и до Коростомля. Перевод: 'От Якима и Семьюна к Дмитру. Дай этому слуге (т. е. подателю сего) коня дурковатого (?) сивого и, пожалуйста, помоги ему доставить [груз] — хоть и до Коростомля (т. е. если нужно, то даже и до Коростомля)'. Ср. также № 739 (... [въ]да[ите] сему диаку :ѣ: и гри^н църквную ...), № 227 (... водае семоу :в: гривне ...) и др.

В грамоте Торж. 10 (2 пол. XII в.) тематизирована сама отправка курьера: + *Онуфрьѣ къ матери. Пошьль Петрѣ къ тебе, поемъ конь и матьль Лазар(е)въ. А воротите конь и матьль, а самого послѣ сѣмо. Али не послешь [а т]аку же ми вѣсть прикли. И покланяю ти са и цѣлую та* 'От Онуфрии к матери. Пошел Петр к тебе, взяв Лазарева коня и плащ. Верните (очевидно, Лазарю) коня и плащ, а самого [Петра] ты пошли сюда. Если же не пошлешь, то пришли мне об этом вестъ. Кланяюсь тебе и приветствую тебя'⁸.

Имеется немало случаев, когда ситуация грамоты может быть истолкована по-разному в зависимости от того, предполагаем ли мы доставку ее собственно курьером или курьером-персонажем. Особенно остро этот вопрос встает применительно к грамотам, построенным по модели "От X-а к Y-у. Дай (или: заплати) Z-у ...". Если такую грамоту доставлял обычный курьер, то Z — это третье лицо, которому Y должен нечто отдать или заплатить. Но тот же Z может быть и "подателем сего", т. е. до-

ставившим Y-у грамоту посыльным; тогда конечным получателем денег или товара оказывается уже сам автор грамоты — X. В ряде случаев очевидно, что дело именно так и обстоит. Например, в грамоте Звен. 2 вдова Говена, требуя с Неженца возвращения денег за лодью (дае :ѣ: деса[т]и(о) коуно лодие-ною), затем дублирует это требование: *а дае Луцѣ*. Лука здесь — явно посланец Говеновой вдовы, явившийся к Неженцу за деньгами. Упоминание его имени потребовалось для заверения адресата в том, что податель грамоты действительно уполномочен автором получить с него долг, а не является самозванцем.

Более сложный случай представляет грамота № 241 (кон. XI – 1 треть XII в.): *ѿ Къснятина къ Жьданж. Запла[ти] Стъпаньцю к[ѣ] Ро[жеств]ж. Н[е] з[апла]тиши, а на отроке [о] д[ѣ]во[е] то[го] бжди* 'От Коснятина к Ждану. Заплати Степанцу к Рождеству. Не заплатишь — [потеря] на отроке (т. е. при взыскании долга через отрока) раза в два больше, пожалуй, будет'. В грамоте можно было бы видеть письмо, доставленное от автора к адресату казенным курьером (Коснятин предположительно отождествляется с посадником Константином Микульчичем) и призывающее его заплатить долг некоему Степанцу. Однако аналогия с грамотой Ст. Р. 15, которой данный документ чрезвычайно близок по содержанию, делает более вероятным другой вариант: грамота выдана самому Степанцу, который, как бенефициант этого распоряжения, и должен предъявить ее Ждану для взыскания с того долга.

§ 18. Соотношение M=Ad, при котором посыльный является одновременно и одним из адресатов коммуникативно неоднородной грамоты, нарушает второй из сформулированных выше критериев эталонной ситуации: автор и адресат находятся в момент написания такого текста в одном пространстве. Грамота не служит установлению контакта между ними, поскольку этот контакт уже существует и информация может быть передана в устной форме. Отличаясь этим от частного письма, устроенная таким образом грамота сближается в своей прагматике с письменным распоряжением,

³ Обратим внимание, что перфект *пошьль* в данном случае обозначает действие, только имеющее совершиться, то есть мы имеем здесь дело с таким же переносным употреблением прошедшего времени, как и в современных записках вроде "ушел, буду через полчаса" или классического "ушла на базу". В корпусе берестяных грамот то же значение еще раз выступает скорее всего в грамоте № 723 (сер. XII в.): *шьль ти есмь Кучькъву* 'я пошел в Кучков'. Считать письмо отправленным с пути нет необходимости: более вероятно, что автор написал его непосредственно перед отъездом в Кучков (Москву).

приказом, который подчиненный получает непосредственно из рук начальника.

В рассмотренных выше коммуникативно неоднородных текстах эта прагматика прямого распоряжения выступает, так сказать, в "связанной" форме, составляя один из аспектов более сложного коммуникативного целого. По-видимому, ее можно наблюдать и в "чистом" виде у целого класса грамот, имеющих только одного адресата. Подозрение в именно такой организации падает прежде всего на тексты, представляющие собой распоряжения, но при этом лишенные адресной формулы: отсутствие последней проще всего объяснить тем, что в ситуации передачи письменного приказа "из рук в руки" адресация его является очевидной и не нуждается в экспликации. Самый короткий документ такого типа — грамота № 79 (посл. четв. XII в.), сохранившаяся целиком и состоящая из одной фразы: *а водаи Михалеви*. Характеристика грамоты как "ярлычка при какой-то вещи, которую нужно было передать Михалю" (ДНД, с. 317), не вызывает возражений, однако с коммуникативной точки зре-

ния существенно, что этот “ярлычок” имеет вид распоряжения. Нет оснований считать, что писавший и исполнитель этого указания были пространственно отделены друг от друга — скорее, отданное из рук в руки вместе с вещью предписание должно было служить памяткой исполнителю.

Приведем еще два текста, для которых можно (хотя и без полной уверенности) предполагать сходную прагматическую направленность. Грамота № 153 (посл. четв. XII – 1-я четв. XIII в.): *Крини лосиноу 8 Фодора оу Уроке в[о] ... а живе во Славне, сокоуи же*. Перевод (по НГБ X, с. 89): ‘Купи лосиную шкуру у Фодора Уроки ... (может быть: за такую-то сумму); а живет он в Славне — отыщи’. Грамота № 78 (60-е – 70-е гг. XII в.): + *Възми оу Тимоше одиноу на десатѣ гривѣноу оу Въщица шуурина на конѣ и сани и хомут[о] и воже и оголове и попоноу* ‘Возьми у Тимошки, Войцына (или Войчина) шурина, одиннадцать гривен за коня, а также сани, хомут, вожжи, оголовье и попоны’ (новую трактовку бытовой ситуации грамоты № 78 см. в НГБ X, с. 85). Можно, конечно, предположить, что неназванные авторы этих писем сначала посылали с ними гонцов к их неназванным адресатам, после чего те отправлялись исполнять полученные таким образом распоряжения, однако такое предположение кажется чересчур громоздким. Логичнее думать, что участия посыльного как такового эта ситуация не предполагала: письменное распоряжение выдавалось исполнителю самим автором, с тем чтобы посыльный мог, при надобности, показать его своему контрагенту.

Особую разновидность в рамках данного класса составляют распоряжения сборщикам податей и долгов типа уже рассмотренных грамот № 219 и № 509. Обе грамоты не имеют адресных формул, при этом коммуникативно неоднородная грамота № 509 содержит обращение к должникам и, следовательно, рассчитана на предъявление. Думается, есть основания видеть в этих текстах не письма, посланные их авторами к сборщикам, а предписания, выданные им непосредственно самими авторами. Такое предписание выполняло роль памятки сборщику, перечисляя, что и у кого он должен взять, и одновременно служило как “удостоверение”, подтверждающее в глазах плательщиков полномочия сборщика.

Такая трактовка вполне согласуется с точкой зрения А. А. Зализняка, рассматривающего “безадресные” грамоты вида «*возьми у X-а столько-то, у Y-а столько-то*» как явление, промежуточное между письмами и реестрами (Зализняк 1987, с. 149). Действительно, такой текст может быть как “свер-

нут” до простого реестра, что достигается устранением императива *возьми*, так и “развернут” до полноценного обращения, каким он становится, снабженный адресной формулой. За этими структурными вариантами совсем не обязательно предполагать прагматические различия. Функционировать как памятка-предписание мог, вероятно, и обычный реестр. В то же время добавление адресной формулы может лишь сообщать такому тексту вид письма, не меняя его прагматики. В грамоте, содержащей распоряжение и при этом оформленной как письмо, адресная формула может выполнять не столько адресную, сколько авторизирующую функцию. Текст вида “От А к В. Возьми у X-а столько-то” может быть, с точки зрения X, прочитан как сообщение: “Настоящим А уполномочивает В взять у X-а столько-то”.

Вполне допустимой (хотя, к сожалению, недоказуемой) такая интерпретация представляется, например, для грамоты № 84 (1-я пол. XII в.): + *Отъ Твърдыты къ Зоубери. Възми оу господыни три на десате рѣзанѣ, а ...* (грамота осталась недописанной). По всей вероятности, Зубрь — слуга Твердыты, а “госпожа”, у которой нужно взять деньги, — кто-то из его домашних, например, жена или мать. В таком случае перед нами, скорее всего, не “письмо от Твердыты к Зубрю”, а записка, с которой Зубрь был послан к госпоже, фиксирующая отданное ему устное распоряжение, своего рода письменная “копия” этого приказа. В предъявлении ее госпоже, видимо, и заключался смысл написания записки. Ту же роль могло бы выполнить и обращение к самой госпоже, вроде представленного в № 227: (*Ѡ ... покл[а]нїи ко матери. Водае семоу :в: гривне ...*

Ту же коммуникативную модель, но с иным прагматическим наполнением демонстрирует, возможно, грамота № 690 (сер. XIV в.): *Поклоно ѿ Кура ко Борану іко Кузми. Возми свою полтину у Ювана у Вяянина во Плотницкомо конци подо Борисоглибмо*. По очень правдоподобному предположению Р. Факкани, данная грамота представляет собой “упрощенный, зачаточный, если угодно, вариант переводного векселя, тратты, т. е. денежного документа, обязывающего три юридические лица — в данном случае Кура, Борана с Кузьмой и Евана” (Факкани 2003, с. 231). По этому “векселю” Боран и Кузьма могли получить у Ивана Вяянина полтину, которую тот был должен Куру. Необходимость письменного обращения к адресатам и в этом случае диктуется не отсутствием прямого контакта с ними (Боран и Кузьма вполне могли получить грамоту непосредственно из рук Кура), а последую-

шим предъявлением документа указанному в нем лицу. Адресная формула со словом *поклонъ* лишь “маскирует” этот документ под обычное письмо.

Размытость границы между собственно письмами и формальными документами характерна для различных культурных традиций. Р. Факкани, отмечая “официальный или полуофициальный характер” некоторых берестяных текстов, сближает их в этом отношении с позднеантичными египетскими папирусами (Факкани 2003, с. 231). Практика оформления документов в виде писем (отчасти сохраняющаяся, вообще говоря, до настоящего времени) хорошо известна и западному Средневековью. Отмечает-

§ 19. В связи с рассмотренными в предыдущих параграфах чертами коммуникативной организации берестяных грамот представляет большой интерес запись эпистолярного характера в новгородском евангелии конца XIII – нач. XIV в. (РНБ, Соф. 8).⁴ Приведем ее по публикации Л. В. Столяровой (2000, с. 426), восстановив сокращения на основе СК XIV, с. 610:

Поклонъ ѿ Фрола ꙗну игумену Микитѣ. Гче игумень, доправи ми, гче, Ба дѣла, книги си на Двину к стѣму Михаилу. Книгы же си дадѣтъ Григорию Сѣрину. А ты, гче Григориш, възми собѣ оу игумена .ѣ. сорочекъ, а еуаѣлие даи ѣму, а мне дали Степанъ да Василей два сорока. А ты, гче Григориш, возми .ѣ. сороко^в и п[...]⁵ будет .ѣ. сороко^в. А ра^д мои ѿ писмени взати .ѣ. сороковъ, да телатины ми было взати, за телатины же сорочекъ, а .ѣ. ѿ писмени. А се ж вамъ книги. А ѣзь вамъ бию челомъ своим старейшим Степану и [Васили]ю Гри[гору].

В отличие от части рассмотренных выше берестяных грамот, коммуникативная неоднородность этого элегантного послания, автор которого поочередно обращается к нескольким лицам, носит открытый характер. Несмотря на это, реконструкция отношений, связывающих автора с его адресатами, составляет весьма простую задачу.

Помимо автора записи Фрола, игумена Микиты, Григория Серина, Василия и Степана в послании упоминается также игумен, которому Григорий должен отдать книги в обмен на пять сорочков. В нем принято видеть игумена “святого Михаила”, т. е. Михаило-Архангельского монастыря в устье Северной Двины (на месте современного Архан-

⁴ Благодарю А. А. Зализняка и А. А. Турилова, указавших мне на этот важный текст при обсуждении положений настоящей работы.

⁵ Согласно примечанию Л. В. Столяровой (2000, с. 426), после плохо читаемых букв *in* смыты одна или две буквы. В таком случае наиболее вероятна конъектура *и па^к будет .ѣ. сороко^в* ‘и как раз будет семь сорочков’. Ср. *пакъ* в значении ‘как раз’ в берестяной грамоте № 69 (ДНД, с. 416).

ся, в частности, что само понятие “документа” формируется в средневековой европейской традиции на основе понятия “письма”, как обозначение специальной разновидности письменных сообщений, обладающей юридическим статусом (Штайнбауэр 1989, с. 80–82). Особо отметим, что М. Клэнчи (1979, с. 69), характеризуя репертуар средневековой английской письменности, специально выделяет такую разновидность, как “предписания” (*writs*) — “a written command given by one person to another; /.../ they were open documents, which were granted to the beneficiaries at the time they were made, like charters”. Такое определение вполне приложимо и к некоторым рассмотренным выше берестяным текстам.

гельска), для которого было заказано евангелие и представителями которого выступают Василий и Степан. С Михаило-Архангельским монастырем надежно связывается и Григорий Серин, идентифицируемый с Григорием Серицыным — послухом грамоты ГВНП № 233. Отметивший эту связь В. Л. Янин следующим образом толкует ситуацию записи: причитающиеся ему по договору пять сорочков писец Фрол уже получил (дополнительно к полученным ранее от Василия и Степана двум сорочкам) от Григория Серина, которому надлежит теперь взыскать свои деньги (*възми собѣ*) с игумена двинского монастыря (Янин 1991, с. 311).

Эта трактовка обладает одним существенным недостатком: предполагая прямой контакт Фрола с Григорием, а Григория — с игуменом двинского монастыря, она оставляет непонятной роль игумена Микиты, посредство которого в данной ситуации оказывается, вообще говоря, излишним.

По мысли Л. В. Столяровой (2000, 428), Микита является игуменом монастыря, в скриптории которого Фролом было написано евангелие, а Григорий — представителем этого монастыря, которому надлежит доставить книги на Двину. Неясно, однако, зачем работающему в монастырском скриптории Фролу сообщать игумену собственного монастыря, кого тот отправит на Двину с евангелием. Нужно признать, что в тексте письма отсутствует указание на факт написания книги в монастырском скриптории — игумен Микита выступает лишь посредником в передачи кодекса на Двину. С другой стороны, Л. В. Столярова (которой работа В. Л. Янина осталась неизвестной) не учитывает двинской принадлежности самого Григория Серина.

Указанные противоречия снимаются, на наш взгляд, если видеть в игумене, у которого Григорию Серину предписано взять пять сорочков, не безымянного настоятеля двинского Михаило-Архангельского монастыря, а титульного адресата письма — игумена Микиту, которому Григорий Серин должен отдать книгу для дальнейшей пере-

дачи ее на Двину. Отсутствие имени игумена при втором упоминании становится в таком случае вполне понятным: ведь это имя уже названо в адресной формуле письма.

В целом ситуация данного текста видится нам следующей. Михайло-Архангельский монастырь на Двине, для которого его старостами Степаном и Василием был заказан список Еванглия, находился с монастырем, в котором игуменствовал Микита, в тесном общении (возможно, был по отношению к нему дочерним), поэтому для доставки книги заказчику писец и прибегает к посредничеству этой обители. Григорий Серин, также связанный с Михайло-Архангельским монастырем, но в настоящий момент находящийся в Новгороде, заплатил Фролу из собственных денег пять сорочков, которые ему и предписывается взять у Микиты — игумена монастыря-посредника. Обеспечив доставку книги на Двину, игумен Микита должен был, очевидно, в свою очередь получить пять сорочков с непосредственных заказчиков кодекса — Василия и Степана.

То, что в письме упоминается только один игумен, а не два, придает построению письма особое сходство с берестяными грамотами, рассмотренными в § 13. Сообщив игумену Миките, что книгу ему доставит Григорий (за формой 3-го л. во фразе *Книгы же си дадять Григорию Сѣрину* стоит, очевидно, действие самого автора), автор сразу же обращается к Григорию с разъяснением, какую сумму и за что он должен взять у игумена (ср. в грамоте № 177: *Дай ключи Ѡми. А ты пошлѣди Григорию ѠнеѠмова* ...). Поскольку выступающий в роли посыльного Григорий находится с автором в непосредственном контакте, это разъяснение по

существо (но не формально) адресовано не ему, а всё тому же игумену Миките. Письмо Фрола в этой его части обладает уже знакомой нам прагматикой векселя, по которому Григорий может получить свои деньги у игумена Микиты (ср. выше о грамоте № 690). Хотя ту же идею автор вполне мог выразить, продолжая обращаться к игумену, он счел более уместным и вежливым обратиться к самому Григорию.

Этим, однако, он не ограничился и в конце напрямую обратился еще и к заказчикам книги — Василию и Степану, ранее упомянутым в обращении к Григорию. В результате круг адресатов записи (игумен Микита, Григорий, Степан и Василий) замечательным образом совпадает с числом персонажей, упоминаемых в ней в третьем лице. Адресованный по очереди всем, кого так или иначе затрагивает его содержание, рассмотренный текст представляет собой древнерусский вариант обращения *to whom it may concern*, которое каждое из упомянутых в нем лиц может воспринимать и использовать по-своему. Перед нами одновременно и просьба к игумену монастыря-посредника о доставке книги на Двину, и документ, по которому Григорий может получить деньги у игумена, и расписка Фрола в получении им денег от Василия и Степана; наконец — его отчет перед заказчиками рукописи и мемориальная запись, увековечивающая причастность всех поименованных лиц к созданию книги. Последнее немаловажно, учитывая, что запись помещена непосредственно на страницах евангельского кодекса. Ее эпистолярная форма — не более чем условность, скрывающая за собой целый пучок прагматических функций.

Устный фактор в берестяной переписке. К проблеме чтения и записи берестяных грамот

§ 20. Анализ коммуникативных ситуаций берестяных грамот невозможен без учета устного аспекта осуществлявшейся посредством их коммуникации. По ходу изложения нам уже приходилось обращаться к этой стороне дела. Мы видели, в частности, что такой специфический феномен, как скрытая коммуникативная неоднородность берестяного письма, во многом объясняется имитацией в письменном тексте структуры устного диалогического общения с характерной для него опорой на ситуативный контекст и факультативностью вербальной маркировки моментов переключения с одного собеседника на другого. Рассматривая одну из форм данного явления, при которой грамота, помимо основного сообщения, содержит обращение к

посыльному, мы заметили, что основное сообщение в таком случае должно было зачитываться адресату вслух. Для грамоты № 84 мы предположили своеобразное соотношение устной и письменной форм сообщения, различающихся своей адресацией: посыльный действует на основании отданного ему устного приказа, тогда как запись этого приказа предназначена для предъявления ее контрагенту автора.

Все эти необычные, с современной точки зрения, коммуникативные структуры, хотя и встречаются в текстах разного времени, должны так или иначе восходить к древнейшей эпохе, когда принявшая крещение, еще совсем недавно бесписьменная Русь только начинала осваивать обретенное

культурное сокровище, нащупывая пути применения письма к различным, в том числе сугубо светским практическим целям. Письменная коммуникация в бытовой и деловой сфере носила в эту эпоху принципиально вторичный и факультативный характер, а передача информации, отправление юридической процедуры и заключение сделок осуществлялись преимущественно устным путем. Это положение дел в значительной мере сохранялось на протяжении всего домонгольского периода (см. Франклин 1985).

Формам устной коммуникации в домонгольской Руси и их роли в становлении светской письменной традиции посвящен ряд исследований¹¹. Применительно к берестяным грамотам данная проблема поставлена в недавней работе Д. М. Буланина (1997). Исследователь справедливо отмечает важность того обстоятельства, что берестяные письма доставлялись их адресатам “в открытом виде”, гонцом, как правило знакомым с их содержанием. Поскольку гонец мог доставить сообщение и в устной форме, практической необходимости в его письменной фиксации не было. И если сообщения все же записывались, следовательно, запись выполняла не чисто практическую, а какую-то иную функцию. Такой функцией, опирающейся на представление о сакральной сущности письма, Д. М. Буланин считает “символическое санкционирование устного сообщения”, передававшегося вместе с грамотой. Значимым оказывается при этом не столько то, что именно записывается, сколько то, что запись вообще производится.

По-видимому, данный фактор действительно играл довольно значительную роль в берестяной переписке. Очень соблазнительно, в частности, предложение Д. М. Буланина (1997, с. 159) рассматривать так называемые “ярлычки” с именами как передававшиеся вместе с устным сообщением “знаки

присутствия” автора. Особенно правдоподобно данное предположение исследователя выглядит в отношении грамоты № 397 (кон. XII – 1-я пол. XIII в.): *Къснятина грамота*. Предложение А. В. Арциховского (НГБ VI, с. 98) видеть в этом документе ярлычок к хранившемуся в семейном архиве берестяному или пергаменному акту кажется довольно фантастичным; более естественно считать, что перед нами сама “Коснятинова грамота”, переданная посыльным адресату в качестве письменного “приложения” к устному сообщению.

Укажем в этой связи также на грамоту № 443, представляющую собой отдельно записанную адресную формулу: *Ѡ Домитра ко Ѡеларю и ко Несодиле*. Трактовать его как “ярлычок при письме” (ДНД, с. 371) затруднительно: непонятно, зачем нужно было выносить адрес на отдельный лист. Между тем, если само “письмо” было устным, всё становится на свои места.

Той же верой в особую силу письменного слова может объясняться и прямо противоположное явление — письменная фиксация высказываний, которые, по логике вещей, в таковой не нуждаются, например, обращения к доставляющему грамоту гонцу или элементарного распоряжения, отдаваемого исполнителю в его присутствии. Предание таких текстов бересте, вполне возможно, само по себе воспринималось как достаточная гарантия исполнения распоряжения. Впрочем, как мы видели, часть устроенных таким образом грамот была рассчитана на предъявление третьим лицам, являющимся их косвенными адресатами. По отношению к ним запись выполняет удостоверяющую функцию. Следует, однако, иметь в виду, что сама эта функция, в условиях отсутствия таких признаков подлинности, как подпись или печать, основывается всё на той же вере в письменное слово, доверии к письменному тексту как таковому.

§ 21. Большой интерес в связи с рассматриваемой проблемой представляет грамота № 656 (сер. XII в.):

... коулотъке грамъта къ хоудъ
... иди реки пльсковоу

Предположение издателей, согласно которому в утраченной левой части грамоты было названо событие, о котором адресату предстояло известить псковичей, маловероятно уже потому, что при наличии у грамоты еще одного автора сообщение об

этом событии должно было бы состоять самое большее из 10–11 букв (при максимально возможной длине имени первого автора и минимальной длине имени адресата), что, при всем лаконизме берестяных посланий, кажется недостаточным. Реалистичнее поэтому полагать, что документ утратил лишь узкую полоску с начальным *Ѡ* в первой строке и окончанием имени адресата во второй. Полный текст грамоты скорее всего имел вид: *Ѡ Коулотъке грамъта къ Хоудъ(те). Иди реки Пльсковоу*.

Отсутствие пояснения, что именно надлежит сообщить “Пскову”, кажется странным лишь до тех пор, пока мы пытаемся осмыслить этот доку-

⁶ См. в особенности работу Д. С. Лихачева о древнерусском посольском обычае, статьи К. Д. Зеemann (1983), Х. Бирнбаума (1991).

мент как обычное письмо, посланное автором находящемуся на некотором удалении от него адресату. Рассмотренные выше факты позволяют, между тем, понять грамоту иначе — как инструкцию, выданную посыльному в его присутствии и санкционирующую устное сообщение, с которым он отправляется во Псков.

Стоит также отказаться от соблазна видеть в миссии гонца оповещение всего Пскова о каком-то важном политическом событии. Естественнее, на наш взгляд, исходя из презумпции ординарности рассматриваемого документа, трактовать *иди-реки* как устойчивое сочетание, означающее ‘иди с речью’, а *Пльсковоу* — как дательный направления ‘во Псков’, зависящий от первого компонента этого сочетания. Настораживает только, что в таком случае не обозначенным оказывается адресат устного сообщения. Не исключено поэтому, что грамота № 656 устроена несколько более сложно, будучи коммуникативно неоднородной и совмещая в

§ 22. В том же ключе может быть, как кажется, понята и грамота № 879 (2 четв. XII в.). В предварительной публикации текст имел следующий вид:
Ѡ жирать покланание ко радать водди семѣ еже
рькло вьръщютѣ

Отмечая, что отрезок *вьръщютѣ* членится на слова неоднозначно, издатели первоначально трактовали его как содержащий личное имя *Верещь* или *Верещуть* в дательном падеже, переводя грамоту: ‘Поклон от Жиряты к Радяте. Выдай подателю сего то, что обещал Верещуту (или: Верещу тут)’ (Янин и Зализняк 1999, с. 22). Однако как по смыслу, так и с орфографической точки зрения такое чтение кажется небезупречным (смущает, в частности, необходимость предполагать уникальное употребление *иц* вместо обычного *и*). Предпочтительной представляется поэтому альтернативная трактовка данного отрезка как *вьръщю тѣ*, где *вьръщю* — это записанный с пропуском редуцированного в суффиксе В. ед. от *вьръшьца* (деминутив от *вьръшь* ‘хлеб’). Дальнейшее зависит от трактовки словоформы *рькле*. Если видеть в ней форму 2-го лица ед. числа, текст можно перевести

§ 23. Грамота № 879 может рассматриваться как составляющая промежуточное звено между грамотами, санкционирующими передаваемое изустно сообщение, и грамотами, письменно фиксирующими само передаваемое сообщение. Основанием для письменной фиксации сообщения могло быть как представление об особой действенности письмен-

себе две рассмотренных выше модели. Заметим, что за вычетом слов *иди-реки* все структурные элементы этой грамоты обнаруживаются в адресной формуле грамоты № 776, найденной на том же Троицком раскопе в слое того же времени (30-е – 50-е гг. XII в.): *Грамота отъ Или ѿ отъ Дмитра Пльсковж ко либинж ко Мостокѣ*. Не означает ли это, что и в № 656 упоминание Пскова по смыслу примыкает к адресной формуле? Но если так, тогда жителем Пскова, которому Кулотка посылает свою весть, является сам Худота, приказание же *иди-реки* относится не к нему, а к анонимному гонцу. ‘Грамота от Кулотки к Худоте’ в таком случае выполняет ту же функцию, что и грамоты № 397 и № 443: это своего рода ‘авторская метка’, санкционирующая устное сообщение, вместе с которым она должна быть предъявлена адресату. Специфика грамоты № 656 в том, что кроме адресной формулы она содержит дополнительное подтверждение полномочий гонца в форме обращения к нему.

так: ‘Поклон от Жиряты к Радяте. Выдай подателю сего то, что ты обещал, — то зернецо’. Однако в контексте наших рассуждений конкурентоспособной (а в грамматическом отношении, из-за отсутствия связи, и более вероятной) представляется квалификация этой словоформы как 3-го л. ед. числа, относящегося к ‘подателю сего’, имеющему явиться к адресату грамоты за хлебом. Форма перфекта оказывается в таком случае ориентированной на момент прочтения грамоты адресатом, т. е. аналогичной по значению формам *шьль*, *пошьль* в грамотах № 723 и Торж. 10 (см. §17, примеч. 8). В целом же текст может быть переведен: ‘Поклон от Жиряты к Радяте. Выдай подателю сего то, что он скажет (букв. сказал), — то зернецо’. Если так, то перед нами еще одна ‘верительная грамота’, подтверждающая полномочия посыльного передать адресату устное сообщение автора. Психологически понятно и дополнение *вьръщю тѣ*: перестраховываясь, автор решил все же пояснить, что именно он желает получить от адресата, ограничившись, однако, лишь общим указанием объекта — детали курьер должен был сообщить в устной форме.

ного слова (см. выше), так и вполне ‘современное’ стремление избежать потери и искажения информации, сопряженных с устной передачей. Очень важно, однако, что текст занесенного на бересту сообщения по крайней мере в части случаев доходил до адресата в устной форме, зачитанный доставившим ‘почту’ гонцом.

Прямым свидетельством этого является уже рассмотренная нами грамота № 406. Характер содержащегося в ней обращения к крестьянскому посланцу, оговаривающего уступки, на которые можно пойти в переговорах с феодалом, позволяет с уверенностью утверждать: эта часть текста не предназначалась для глаз основного адресата грамоты и, следовательно, основное сообщение было зачитано ему вслух. То же можно сказать и о грамоте Смол. 12, в которой обращение к посыльному также носит сугубо конфиденциальный характер. Тот факт, что Смол. 12, в отличие от № 406, представляет собой частное письмо, позволяет не связывать данную практику с официальностью текста, но видеть в ней характерную черту берестяной коммуникации в целом.

Способ построения берестяного письма, при котором оно, помимо основного сообщения, содержит метатекст, адресованный посыльному, находит частичную типологическую параллель в эпистолярной практике древней Месопотамии. Типичное вавилонское письмо строится по модели: “Скажи такому-то: так говорит такой-то...”. Характерно, что в нововавилонский период эта модель уступает место более лаконичной формуле “Письмо от такого-то...” (Оппенгейм 1990, с. 219), что, конечно, не означает, что письма перестали зачитываться адресатам.

Фигура посыльного, зачитывающего письмо адресату, позволяет объяснить и некоторые другие особенности берестяной переписки. В частности, оказывается возможным понять, каким образом на одном берестяном листе могут быть написаны письма разным людям, никак не связанные между собой. Именно такой вид имеет грамота № 589 (сер. XIV в.), содержащая два письма Жилы — к Чудину и к Саве. При этом второе письмо начинается в той же строке, где оканчивается первое, следовательно, отделить их друг от друга, передав каждое по назначению, было технически невозможно. То, что второе письмо оказалось в конечном счете почти полностью утрачено (кроме адресной формулы и фрагмента второй строки), видимо, объясняется тем, что грамота была разорвана гонцом после того, как оба письма были зачитаны адресатам.

Сходным образом, хотя и несколько иначе, устроена, по-видимому, и грамота № 750 (конец XIII – 1-я пол. XIV в.), также содержащая два не связанных между собой текста. На внешней стороне берестяного листа располагается изысканное по своей стилистике письмо от Степана к Потке, в котором автор взывает к совести адресата, не возвращающего ни товаров, ни денег; на внутренней — запись: *У Зубеца поло гривнѣ новаѣ и ножѣ во ѡсминацтѣмѣ*. Комментируя это сочетание текстов, издатели отмечают: “Записка расположена на вну-

тренней, более удобной для писания стороне листа; очевидно, она была написана раньше, чем письмо. Либо автор, не найдя другого листа бересты, написал письмо на обороте записки и послал его, не обращая внимания на наличие записки, либо перед нами не само письмо, а его черновик; ср. записки Моисея (грамота № 521), куда входят как списки долгов, так и черновик официальной жалобы” (НГБ X, с. 44). Аналогия с № 521 кажется не вполне точной: последняя представляет собой большой лист бересты, по которому хаотично разбросаны несколько записей совершенно разного содержания, включая и любовный заговор; черновой характер этого документа очевиден. В отличие от него, грамота № 750 написана на аккуратно вырезанном листе, в точности соответствующем по формату письму на внешней стороне коры. Лист был обрезан под это письмо, и если к этому времени на внутренней стороне уже была сделана запись, это может означать только, что оба текста были специально написаны на одном листе. Объяснить это можно, предположив, что письмо Степана не было послано им Покте в современном смысле этого слова. Видимо, посыльный Степана должен был лишь зачитать (а может быть, и показать) письмо Покте, после чего направиться к очередному должнику, имея на обороте того же листа памятку о том, что необходимо взять у него. О том, что записки вида “у X-а столько-то” могли выполнять ту же функцию, что и предписания вида “возьми у X-а столько-то”, речь уже шла выше (см. § 18).

Подчеркнем, что прочтение письма адресату третьим лицом совсем не обязательно связывать с неграмотностью адресата: в значительной мере такая практика носила, очевидно, этикетный характер, восходя к традиции обмена устными посланиями. В то же время она имеет под собой и более общие социо- и психолингвистические основания. Как известно, чтение вслух, при котором декодирование записанного сопровождается его произнесением, является наиболее примитивной и древней формой навыка чтения как такового. Фигура человека, пробегающего глазами письменный текст, не произнося его, возникает лишь на определенном этапе развития цивилизации. Хрестоматийным стал эпизод из “Исповеди” бл. Августина, в котором автор (прошедший, заметим, античную школу), зайдя в келью к своему учителю Амвросию Медиоланскому, застал того читающим книгу, не шевеля при этом губами, и был глубоко поражен этой способностью Амвросия. Для раннеписьменного древнерусского общества предполагать жесткую увязанность процесса чтения с произнесением читаемого текста оснований куда больше. С другой стороны, для текста адресной структуры наиболее органичной формой восприятия является восприятие на слух, при которой референция форм второго лица осуществляется с наибольшим автоматизмом. Произнесение такого текста самим адресатом, напротив, препятствует этой референции. На этом фоне вопрос о том, кто должен читать принесенную курьером грамоту — адресат этой грамоты или сам курьер, — решается однозначно в пользу последнего.

§ 24. В ситуации зачитывания письма его адресату последний предстает в роли “слушателя”, а не в роли “читателя”, которую он выполняет в эталонной ситуации. Известно, что глаголы *слушати* (*слышати*) и *читати* (*чѣсти*) могут применительно к письменному тексту употребляться как синонимы; ср., например, параллельные контексты из “Поучения” Владимира Мономаха: *Да дѣти мои, или инь кто, слышавъ сю грамотицю, не посмѣитеса...* и *Да не зазрите ми дѣти мои, но инь кто прочеть...* (Лавр., л. 78, 83). Следует полагать, что и в берестяных письмах (которые, кстати сказать, сами их авторы иногда называют “грамотицами” — № 424, 655, 854) *слышати* может обозначать восприятие письменного сообщения.

С этой точки зрения интересно рассмотреть текст грамоты № 705 (нач. XIII в.):

+ покланание ѿ домажира ко акову а оу тебе слышоу цето ты моловише оце е тебе н[є] годена а попровѣди ко мене сестроу азъ бѣле лони наделиа а ныне бѣхо посолале а ныне слышо болену сестроу оце ю бѣ | поемете а присоли соно ко мене со ее знатебоу оте побоуде сыно у мене а а са имо потешоу и посолю ю опате во городо пакы ли не оуправише того а а та передамо сватее богородице ко нее же еси заходиле роте

Переводя начальную фразу ‘До моего слуха доходит то, что ты говоришь’, А. А. Зализняк замечает, что “*слышати у кого* слегка отличалось по смыслу от *слышати отъ кого*. По-видимому, предлог у был более уместен в случаях, где коммуникативный акт был чем-то осложнен (например, услышавший получал лишь пересказанную информацию или обращенную не специально к нему)” (ДНД, с. 351). Таким осложняющим коммуникативный акт фактором может быть, очевидно, любая форма трансляции высказывания. Можно думать поэтому, что в данном случае речь идет не о доходящих до Домажира слухах из окружения Якова, но о выслуханном им послании самого Якова, в котором тот открыто высказывал недовольство в связи с какими-то действиями Домажира в отношении его жены — сестры Домажира. Первая фраза грамоты может быть тогда переведена: ‘Я выслушал (букв.: слышу) то, что ты [через твоего посланца] говоришь’.

§ 25. В грамоте № 705 представление адресата в роли “слушающего” корреспондирует с представлением автора как “говорящего” (*слышоу, цето ты моловише*). Яркую параллель последнему составляет адресная формула грамоты Ст. Р. 11: *Иванаа мо-*

В пользу такого понимания дела может свидетельствовать и фраза *азъ бѣле лони наделиа, а ныне бѣхо посолале*. Совершенно непонятная вне ситуативного контекста (кого и чем наделил? что послал?), она имеет смысл только в качестве ответа на некоторую конкретную реплику-стимул, видимо, и содержащуюся в послании Якова. Это тем более вероятно, что недовольство автора тем, что адресат ему чего-то не присылает, является одной из постоянных тем берестяной переписки.

Если наше предположение верно, то и фраза *а ныне слышо болену сестроу* отсылает не к новой информации, полученной автором, а к тому же самому посланию Якова. Автор как бы следует по тексту этого послания, последовательно реагируя на отдельные его положения. В современном письме это место могло бы иметь вид: *а еще ты пишешь, что сестра больна*.

По той же модели может быть осмыслена грамота № 231 (60-е – 90-е гг. XII в.):

†
ѿ тврьдиль къ да[н]... ...
ль есмь ѿнжилъ пыпъвъ
дѣвъ гривьнь вѣдаль за та а ны
нь в[ѣд]ае стѣпан[оу] (| ...)

А. А. Зализняк (ДНД, с. 316) с полным основанием предполагает, что в утраченном конце первой строки “стоял глагол с общим значением типа ‘узнал’ (например, *увѣдале*, *слышале*, *чюле*)”, и переводит грамоту: ‘От Твердилы к Дан... Я [узнал (?), слышал (?)] Нежил, попов [сын], две гривны отдал тебе (в твои руки). Тогда отдай [их] Степану’. В уточнении нуждается, на наш взгляд, не этот перевод, а стоящее за ним общее понимание ситуации. Хотя теоретически источником информации, на которую ссылается автор, могли быть и третьи лица, кажется значительно более вероятным, что утраченный глагол *слышале* и в данном случае, как и в № 705, отсылает к письму, полученному автором от самого Нежила. Заметим также, что Степан, которому предписывается отдать деньги, является, скорее всего, посыльным автора, доставившим грамоту адресату. Общий смысл письма представляется, таким образом, следующим: “Нежил, попов сын, сообщил мне, что он отдал в твои руки [предназначаящиеся для меня] две гривны. Так дай же их [подателю сего] Степану”.

ловила Оумь: любо коунъ восоли, па^к ли дорго продаю (перфект имеет здесь перформативное значение: ‘говорит этим своим письмом’, см. ДНД, с. 157).

Следует полагать, что и в некоторых других случаях глаголы *молвити* и *речи* обозначают в

берестяной переписке высказывания, передававшиеся при помощи самих берестяных грамот, но по ряду причин интерпретируемые участниками коммуникации как устная речь. См., например, начало грамоты № 550: *Поклананіе ѿ Петра к Аврамоу. Матьеви еси молвилъ: “толико мнѣ емати скота, боле же за мьне скота не поустѣ”*. Ср. также № 605: *а соромъ ми оже ми лихо мѣвлаше*; № 731: *ако ты си мловила емѣ: “ты дни придьши томо дни поимѣ”*; № 195: *реклъ кси былъ во своємъ селѣ верши всѣ добры и араа жита* и др. Глаголы речи в подобных контекстах могут в равной степени отсылать к устным и письменным высказываниям адресатов.

Конечно, трактовка письменного сообщения в терминах взаимодействия говорящего и слушающего может быть и, скорее, всего во многих случаях является эпистолярной условностью. Однако, как и за всякой условностью, за ней просматриваются некогда существовавшие реальные практики. Это, с одной стороны, прочтение писем адресатам вслух доставившим грамоту курьером — следы его мы пытались выявить выше. На другом конце коммуникативного акта зеркальным соответствием этой практики является написание писем под диктовку — автор при этом действительно, а не метафорически, выступает в роли “говорящего”.

Типологические параллели заставляют думать, что соотношение этих двух практик не было симметричным и что вторая была распространена значительно шире первой. В средневековой Европе грамотность человека определялась способностью “читать и диктовать”, а не “читать и писать”. Как замечает исследователь культуры письма в средневековой Англии, «letter writing was /.../ an intellectual skill using the mouth rather than the hand» (Клэнчи 1979, с. 219). И хотя данная констатация имеет в виду более развитую эпистолярную традицию, чем представленная берестяными письмами, она в какой-то степени приложима и к последним.

Накопленные в настоящее время данные показывают, что практика написания берестяных писем третьими лицами, хотя и не являлась господствующей, была тем не менее достаточно распространена (см. Зализняк 1999, с. 303–305). Напрямую она свидетельствуется, во-первых, письмами, исходящими от одного лица и при этом написанными разными почерками (самый яркий пример — письма Петра на усадьбе Е Троицкого раскопа), и, во-вторых, письмами, написанными одним почерком и исходящими от разных лиц (единственную такую пару составляют грамоты № 710 и 664).

Отличными от авторов “писцами” берестяных грамот могли быть, в принципе, как лица, для ко-

торых письмо было профессиональным занятием, так и просто грамотные люди в окружении авторов — подчиненные, слуги или домочадцы. Оценивая соотношение этих возможностей, следует иметь в виду, что понятие “профессиональный писец” для древней Руси по существу синонимично понятию “церковный писец”: особого, противопоставленного книжному канцелярского письма Русь в XI–XIV вв. не знала (отличаясь этим как от Византии, так и от латинского Запада); ограниченные бюрократические потребности светской администрации вполне могли быть удовлетворены выходцами из церковной среды.

Основной сферой использования в берестяной письменности труда профессиональных писцов можно а priori считать формальные документы и официальную корреспонденцию, доля которых в фонде берестяных грамот с течением времени возрастает. Один из наиболее надежных примеров работы профессионала, причем духовного звания, видится нам там, где он до сих пор не усматривался, — в грамоте № 610 (60-е – 80-е гг. XIV в., челобитная от Роха к Фефилату). Стандартная концовка челобитной *а азъ тобѣ, гнѣ, цоломъ бию* в этом документе продолжена припиской *Аминѣ. Гнѣ, помилуи дѣака бѣльскаго*, в которой издатели видят “подпись” самого челобитчика. Можно согласиться с тем, что данная фраза “в соответствии с древнерусским словесным этикетом равносильна подписи” (ДНД, с. 476). Вопрос только — чьей? Такой же подписью является и формула “Х писалъ”, часто встречающаяся в разного рода актовых материалах и всегда называющая при этом имя писца. На этом основании, а также учитывая хорошую каллиграфическую выучку писавшего, можно заключить, что и здесь перед нами автограф писца — “дѣака бѣльскаго”, написавшего для Роха его челобитную.

Отсутствие подобных свидетельств для раннедревнерусской эпохи логично, вслед за С. Франклином (1985, с. 9), объяснять отсутствием в домонгольской Руси развитого бюрократического аппарата. Впрочем, находки последних лет заставляют существенно скорректировать это представление, показывая, что начатки официального делопроизводства, в том числе частного акта, существовали на Руси уже в начале XII в. Важным свидетельством этого является уже упоминавшаяся берестяная грамота № 2 из Звенигорода Галицкого (10-е – 30-е гг. XII в.), автор которой — вдова Говена, требуя от адресата выплаты шестидесяти гривен за ладью, ссылается на предсмертное распоряжение своего мужа, записанное попом (*повѣдало Говѣно уда на*

соудо, а пошь ѡль; обоснование такой трактовки данного места см. Гиппиус 1991). Упомянутый таким образом текст был, по-видимому, древнейшим известным нам древнерусским завещанием (если, конечно, не считать явно литературного завещания Ярослава Мудрого в Повести временных лет). Был ли это пергаменный или берестяной документ — не так важно: как показала находка грамоты № 818 (2-я пол. XII в.), подобные тексты могли составляться и на бересте.

Публикуемый в настоящем томе комплекс берестяных грамот XII в., происходящих с усадьбы Е Троицкого раскопа, представляет в данном отношении исключительный интерес. Помимо только что названного завещания № 818 письменная продукция этой усадьбы включает целый ряд официальных обращений к властям, в том числе исходящих от жителей целых погостов (аналог позднейших коллективных челобитных); черновик жалобы, имеющий быть переписанным на пергамен (№ 831); записку дьяка и Ильки (№ 842), вероятно, написанную рукой первого из авторов, с типичным для позднейшей актовоей письменности началом: *се посьлаховѣ*... Дьяки как представители светской администрации упоминаются также в грамотах № 739 и 855; вместе с автографами Петра, “Остромирова дьяка”, в Новгородской Софии и “Давыдова дьяка” Ивана в Софии Киевской (см. Высоцкий 1966, с. 58–59; Медынцева 1978, с. 94–97) эти свидетельства дают достаточно оснований говорить о существовании элементов светской бюрократии на Руси уже в XI–XII вв.

В неформальных контекстах, при написании частных писем и записок, использование труда профессиональных писцов, в принципе, также могло иметь место: А. А. Зализняк (1999, с. 300) допускает, в частности, что в роли писца выступает Серафьян (судя по имени — монах) в написанном его рукой письме бытового содержания. Работу профессионала он предполагает также в уже упомянутых грамотах № 664 и 710: “палеографические, орфографические и морфологические особенности заставляют предполагать в писавшем попа или монаха” (там же; ДНД, с. 721). Нужно, впрочем, заметить, что отмечаемые особенности — каллиграфический почерк, книжная графическая система, преобладание наддиалектной морфологии, формула *и цѣлью та* — выглядят в свете находок последних лет не столь показательно: в письменной продукции троицкой усадьбы Е и прилегающей к ней территории Людина конца эти черты — не редкость. Их следует трактовать, скорее, не как свидетельство работы писцов духовного звания, а как прояв-

ление социокультурной элитарности подвизавшегося на этой территории населения.

Тем более примечательно, что именно в этой культурной среде практика написания писем третьими лицами свидетельствуется особенно широко. Как уже отмечалось (Янин, Зализняк 1999, с. 3), письменная продукция троицкой усадьбы Е позволяет выявить корреляцию между количеством грамот, написанных не собственноручно, и социальным статусом их авторов. Так, все письма Петра (Петрока) — центрального персонажа этого комплекса — написаны разными почерками. Причина этого, конечно, не в неграмотности Петра, а в том, что свои письма он имел обыкновение диктовать подчиненным. Чем выше на социальной лестнице стоял автор письма, тем большими он располагал возможностями, чтобы поручить записать его кому-то из окружающих. Это вполне могли быть и клирики, проживавшие на окрестных усадьбах, но также и грамотные “отроки”, которых в дружинной среде было более чем достаточно. Для писем Петра, присланных в Новгород из деловых поездок, второе намного более вероятно.

В зависимости от того, в каких социальных отношениях находятся между собой отправитель письма и писец, роль последнего может наполняться различным коммуникативным содержанием. “Отрок”, записывающий под диктовку своего господина его письмо, и сельский дьяк, пишущий челобитную для неграмотного крестьянина, оба являлись “писцами”. Но если в первом случае роль составителя текста принадлежит отправителю (S=C), то во втором ее может в значительной степени или даже полностью брать на себя писец (C=Sc). Такой писец может даже становиться одним из титульных авторов грамоты, что мы находим, например, в № 310 (кон. XIV – нач. XV в.) — челобитной посаднику Андрею Ивановичу от ключника Вавилы и крестьян Захарка и Нестерка. Никакого отдельного от просьбы крестьян обращения ключника данный документ не содержит; роль Вавилы заключается, очевидно, в самом оформлении этой просьбы, доведении ее до сведения адресата.

Зная, что многие берестяные письма писались под диктовку, и предполагая, что некоторые грамоты доставившие их посылные зачитывали адресатам вслух, логично думать, что в части случаев курьер мог выступать и в роли писца. Разделение функций пишущего и посылного было необходимо лишь при неграмотности последнего, но как раз в таком случае автор мог написать грамоту и собственноручно. Если же посылаемый с берестяной грамотой сам был грамотен, естественно было про-

диктовать грамоту ему, не привлекая для этого специального писца. Показательна в этом отношении грамота № 739 (20-е – сер. 50-х гг. XII в.): *Отъ Глѣбѣка к[ъ] воло[ча](н)[омь. Вѣ]да[ите] сему диаку :ѣ: и гри^н: църкѣвную стрѣже...* Использование в качестве посыльного дьяка коррелирует здесь с церковными элементами в языке (см. в первую очередь написание самого слова *диакъ*). Отправляя дьяка за “церковной гривной”, не было надобности затруднять написанием сопроводительной грамоты еще одно духовное лицо. Грамота, врученная волочанам

§ 26. В свете изложенного в предыдущих параграфах рассмотрим такую особенность ряда берестяных писем, как упоминание авторов в третьем лице.

Древнейшая из грамот, в которых представлено данное явление, — № 745 (кон. XI – 1-я четв. XII в.): *Ѡ Павѣла из Ростова къ Братонѣжскоу. Аже то лодиа присѣлана кыанина обѣсти ж кыназоу, дати не боуде присловѣа ни тобѣ ни Павѣлови ‘От Павла [письмо] из Ростова к Братонежку. Если ладья киевлянина [уже] прислана, то сообщи о ней князю, чтобы не было худой славы ни тебе, ни Павлу’.*

Аналогичное употребление фиксируется также в грамотах № 422 (40-е – 50-е гг. XII в., от Местяты к Гавше и Сдиле), № 275/266 и № 260 (письма Сидора, 70-е – 80-е гг. XIV в.) и № 243 (челобитье Семенка-карела, 20-е гг. XV в.). Не вполне надежно относящаяся к автору форма третьего лица выделяется в грамоте № 821 (сер. XII в., от Негла к Петроку и Якше).

Сразу же отметим два обстоятельства. Во-первых, “авторское” третье лицо — редкость в берестяной переписке; во-вторых, ни в одном из названных текстов данный принцип не проведен последовательно: в тех грамотах, где отправитель упоминается в основном тексте письма более одного раза, относящиеся к нему формы третьего лица сосуществуют с формами первого лица (№ 422, 275/266, 243).

По мнению А. А. Зализняка (ДНД, с. 240, 266, 506–507), упоминание авторов писем в третьем лице показывает, что грамоты писались не ими собственноручно, а третьими лицами — профессиональными писцами или кем-то из окружения авторов. Несколько иначе трактует данный феномен Р. Факкани, полагая, что в третьем лице могут иногда говорить о себе и сами авторы грамот, — этот эффект сопоставляется им с встречающейся в итальянской разговорной речи заменой первого лица выражением *sottoscritto* (“нижеподписавшийся”) (Фак-

посланцем князя Глеба (который, по предположению В. Л. Янина, является автором этого документа), была поэтому скорее всего написана рукой самого этого посланца. Заметим, что церковная окраска данного текста ни в коей мере не предопределяет соотношения коммуникативных ролей, она лишь помогает обнаружить тождество писца и курьера, которое с тем же основанием можно предполагать и для вполне “светских” ситуаций с участием грамотных посыльных.

кани 1995, с. 104, 141). Такое перенесение в устную коммуникацию оборота, заимствованного из письменной речи, является, конечно, весьма отдаленной аналогией рассматриваемому явлению. Однако и объяснение его отражением точки зрения писца имеет свои недостатки: трудно представить, например, чтобы писец грамоты № 745 в диктуемой ему фразе *дати не буде присловѣа ни тебе ни мнѣ сознательно заменил *мнѣ* на *Павѣлови*, исходя из собственной коммуникативной перспективы; с другой стороны, считать эту замену спонтанным “прорывом” личности пишущего также нет оснований.

Особенно любопытно, что два письма, в которых фиксируется данное явление, исходят от одного автора (Сидора, № 275/266 и № 260). С одной стороны, это означает, что по крайней мере одно из писем действительно написано Сидором не собственноручно. Но как объяснить, что в третьем лице Сидор называется и в другом письме? Очевидно, что упоминание автора в третьем лице не было нормой для грамот, писавшихся третьими лицами. Вероятнее поэтому, что здесь мы имеем дело не со случайным совпадением в поведении двух писцов, которым диктовал свои письма Сидор, а с особенностью эпистолярной манеры самого Сидора.

Впрочем, сама постановка вопроса: кто говорит об авторе в третьем лице — писец или сам автор? — кажется до некоторой степени искусственной; во всяком случае, она явно не исчерпывает существа дела. Анализируя такое употребление, естественно исходить из презумпции его преднамеренности, видя в нем этикетный отказ от авторской коммуникативной перспективы, произведенный в интересах адресата. Кому бы ни принадлежало это речевое поведение — самому отправителю сообщения или же отличному от него писцу, — значимым является не момент записи, а момент восприятия сообщения адресатом, на который ориентируется составитель текста.

Приблизиться к пониманию данного явления можно, поставив его в более широкий контекст.

Обозначение в третьем лице автора или/и адресата высказывания встречается, вообще говоря, в самых различных речевых ситуациях — от дипломатической переписки до разговора с детьми, — соответствующим образом варьируя свою прагматику (см. Шмелев 2002, с. 167–172). В древнерусской письменности такое употребление с разной регулярностью представлено в ряде жанров.

В актовом формуляре авторское третье лицо делит свои позиции с первым, что наглядно демонстрируют уже два древнейших русских пергаменных акта: в то время как Мстислава грамота 1130 г. последовательно выдержана в формах первого лица (*Се азъ Мъстиславъ ... повелѣлъ ѥсмь* и т. д.), в данной Варлама Хутынского (1192–1210) столь же последовательно употребляется третье лицо (*Се вѣдале Варламе* и т. д.). Чередование форм первого и третьего лица возможно и в пределах одного документа — мы уже наблюдали это на примере духовной Климента 1270-х гг. (см. § 9).

Намного реже в третьем лице говорят о себе книжные писцы. См., например, запись в новгородском стихираре XII в. (РГАДА, ф. 381, № 145): *Псалъ грамотицю съю члвкъ има емоу крстьнокъ Юковъ, а мирьски Творимиръ, понамарь стѣго Николы...* (Каталог ЦГАДА, с. 74).

Наконец, формы авторского третьего лица представлены в настенной храмовой эпиграфике, где они входят в состав двух основных моделей: “X пьсалъ” и “Господи, помози рабу своему X”. В надписях более сложной структуры нередко наблюдается чередование личных форм. Приведем два примера из надписей в новгородском Софийском соборе (Медынцева 1977). № 200: *хот[ь]ць пѣвъ въ бѣ^а его о сѣаа софѣе избави ма бѣды* (текст приведен по работе А. А. Зализняка в настоящем издании); № 209: *о сты петре прости ѿдаждь все елико ти съгршихъ рабу своему михаилоу аминь*. Особый интерес представляет надпись № 26, в которой наряду с авторским третьим лицом представлено третье лицо адресата: *олисѣи молить са свѣти софи*. Этот текст, который можно было бы понять как подпись к изображению молящегося, в действительности представляет собой само молитвенное обращение.

Формульный и ритуализованный характер, присущий формам третьего лица во всех этих контекстах, подчеркивает независимость такого употребления от фактора несовпадения пишущего с отправителем сообщения: как в акте, составляемом профессиональным писцом, так и в автографе молящегося на стене храма транспозиция личных форм объясняется прагматикой текста, ориентацией на

воспринимающего субъекта: потенциальную аудиторию документа, читателя книги, наконец, Бога или святого, к которому обращена молитва. Такое отчуждение высказывания от говорящего, письменной речи от ее автора может обуславливаться разными причинами: стремлением к большей ясности формулировок или же смиренным отказом от авторского “я” — в любом случае она представляет собой сознательный прием, явление речевого этикета.

Представляется поэтому, что анализ употребления форм авторского третьего лица в берестяной переписке не может быть ограничен рассмотрением нескольких случаев, в которых данное явление фиксируется в основном тексте писем, но должен принимать во внимание и их этикетную часть, в первую очередь — адресные формулы.

Наиболее открыто авторское третье лицо выступает в формулах типа “X молвил Y-у” и “Бьет челом X Y-у”; однако, отвлекаясь от чисто глагольной репрезентации данного явления, его с полным основанием можно видеть во всех разновидностях адресных формул, коль скоро отправители (и адресаты) писем представлены в них своими именами, а не личными местоимениями. Собственно говоря, в коммуникативном плане адресная формула тем и отличается от основного текста письма, что автор и адресат обозначаются в ней формами третьего лица, тогда как в основном тексте — соответственно первого и второго.

От этого общего правила возможны отклонения двоякого рода. С одной стороны, модус обозначения участников коммуникации, нормальный для основного текста грамот, может проникать в адресную формулу. В фонде берестяных грамот имеется единственный, но очень важный пример этого — грамота № 771: *Офимиа каже весте къ тебе: грвиѣ серебра присли на дѣвке ...* (вместо тебе здесь ожидалось бы имя адресата, ср. Ст. Р. 11: *Иванѣа молвила Оимь*).

Упоминание автора в третьем лице в содержательной части берестяных писем можно рассматривать как симметричное этому явление, объясняя его коммуникативной “инерцией” адресной формулы, перенесением в основной текст письма свойственного ей “объективного” модуса обозначения отправителя. Показательно, что при чередовании в основном тексте относящихся к отправителю форм первого и третьего лица последние тяготеют к началу сообщения. Так, в грамоте № 275/266 находим: *Приказъ ѿ Сидора къ Грѣгорию. Что оу подо^кклити Ѡленини, выдаи сторѣжю в цркѣвь. А что дви корѣби Сидорови ... [до]мень и [д]о Ѡстафши ...*

А про к[о]н[ѣ] поими може цалца ... Аналогично, и в № 243 челобитчик сначала упоминается в третьем лице (дважды), а затем — в первом: *Поклонъ ѿ Сменка ѿ корѣлина. Пришле, гнѣ, т кобѣ на село на Пытареве. Цимъ же пожалуешь, и ты, ѿспднѣ, прикажи всакоє слово. А язъ тобѣ своему гнѣ цолмъ бѣю.* Непосредственно за адресной формулой неохарактеризованная по лицу перфектная словоформа (в которой по аналогии с № 243 можно видеть третье лицо) следует и в грамоте № 821: *Отъ Нѣгъла къ Петръкоу и къ Акъши. Сънаале землоу на :ѣ: лѣтъ ...* Невыраженность субъекта при сънаале явно объясняется тем, что эта фраза мыслится как прямое продолжение адресной формулы, составляя с ней коммуникативное целое.

Такая интерференция между адресной формулой и основным текстом письма оказывается возможной из-за в целом нежесткого характера их противопоставления. С одной стороны, адресная формула в принципе является лишь одним из компонентов этикетной части грамоты, которая может иметь свои “вкрапления” также в основном тексте; с другой стороны — она сама может вбирать в себя отдельные элементы содержания сообщения (см. Зализняк 1987, с. 149). Особенно показательна в этом отношении уже упомянутая в предыдущем параграфе грамота № 310: *Цѣлобитикъ ѿсподину посаднику новгороцкому ѿнедрию Ивановицо ѿ твѣжѣгъ клоуцика ѿ Вавулы и ѿ твоихъ хрестяно, которые хрестяни с Ылова пришли за тебѣ Захарка да Нестерке, жили за ѿлексеж за Шукою. Ноне, ѿсподине, ѿлекси не хоже намъ ржы дати ...* (далее употребляются только формы первого лица). Информация о переходе крестьян здесь синтаксически включена в адресную формулу, вследствие чего граница между нею и основным сообщением перестает существовать.

Специального разбора в контексте рассматриваемой проблемы заслуживает грамота № 422 (40-е–50-е гг. XII в.):

ѿ мѣ:ста:ть : ко га:во:шь : и :
 ко : со:ди:ль : по:пы:та:и:та ми : ко
 на : а : мѣ:ста:та : са : ва:ма покла
 на : а:же : ва : цѣ:то : на:до:бѣ : а соли
 та : ко монѣ : а грамотуо : водаита
 а уо павла : скота попроси:та а мѣ:ста

В отличие от А. А. Зализняка, по-мнению которого обрывающаяся на полуслове грамота представляет собой первый лист двухлистового или многолистового письма (ДНД, с. 265), Р. Факкани считает возможным трактовать ее как полностью сохранившийся документ. Недописанное *Мѣста* является, считает исследователь, частью повторенной еще раз формулы *а Мѣста(та са вама покланаеть)*, которую автор во второй раз сократил, “чтобы не повторяться” (Факкани 1995, с. 104). В пользу такой трактовки говорит, на наш взгляд, и резкое возрастание плотности письма в последней строке

(число букв по строкам грамоты: 16/21/19/22/27), — оно показывает, что писец не собирался переходить на новый лист и текст грамоты на этом скорее всего заканчивался.

При такой трактовке грамоты формы авторского третьего лица оказываются признаком, последовательно противопоставляющим этикетную часть письма его содержательной (информативной) части, т. е. собственно сообщению. В последнем отправление дважды обозначен формами первого лица, тогда как в этикетной части он трижды называется по имени, то есть выступает как третье лицо.

Это распределение находит близкую аналогию в древнерусском посольском обычае, каким мы знаем его по летописным описаниям (см. Лихачев 1946/1986). Как пример приведем описание в Галицко-Волынской летописи одного из посольств к Владимиру Васильковичу. Исполнявший роль посла перемышльский епископ Мемнон *воиде к нему (Владимиру) и поклонивса емоу до землѣ, река: “Братъ ти са кланяеть”. И велѣ емоу състи. И нача посольство правити: “Братъ ти, гнѣ, молвить: стръи твои Данило король, а мои ѿѣ, лежить в Холмѣ оу стѣби Бѣци ...”* (Ипат., 1288 г.). Ср. также в Лавр. под 1176 г. о посольстве князя Глеба Ростиславича к Михалку Юрьевичу: *оусрѣтоша и посла Глѣбови рекуци: “Глѣбѣ са кланяеть: азъ во всемъ виноватъ ...”*. В обоих случаях текст послания передается от первого лица, за исключением формулы “такой-то тебе кланяется”. Как видно из первого контекста, произнося эту формулу, посол кланялся, “изображая” поклон автора речи. Упоминание последнего в третьем лице призвано было, видимо, отделить этот жест от его непосредственного исполнителя, подчеркнуть его вторичность.

Не означает ли это, что и текст грамоты № 422 был доведен до ее адресата в устной форме, сопровождаемый двумя ритуальными поклонами? Сама же грамота могла служить памяткой передающему сообщение курьеру. В пользу этого говорит, как кажется, и недописанное имя автора в последней строке. Оборванную таким образом формулу вежливости трудно представить себе в тексте, рассчитанном на предъявление адресату, — это было бы равносильно подмене учтивого поклона небрежным кивком. Такой обрыв между тем легко объясним, если грамота зачитывалась адресату послыльным: недописанное *Мѣста...* в таком случае должно пониматься как сокращение, имеющее быть “развернутым” в устном исполнении и функционально аналогичное сокращенной записи стандартных концовок молитвословий в литургических книгах. В связи с этим неслучайным кажется и то,

что данная формула осталась недописанной до конца и в первом случае (см. *поклана* вм. *покланае* или *покланаеть*), в то время как другие описки в грамоте отсутствуют.

Точка зрения лица, зачитывающего текст письма его адресату, является, вообще говоря, именно той позицией в пределах коммуникативного акта, с которой адресат предстает как второе лицо, а отправитель — как третье. “Ни тебе ни Павлу” мог реально сказать, обращаясь к Братонежку, посланец Павла, и грамота № 745 фиксирует, по-видимому, именно это высказывание.

Что же касается писца, то отражением его точки зрения упоминание автора в третьем лице может быть, как представляется, лишь при следующем условии: если характер отношений, связываю-

щих писца с отправителем, делает его коммуникативно “независимым”. Такую коммуникативную независимость писца мы уже наблюдали в грамоте № 310: пишущий крестьянскую челобитную ключник вместе с функцией писца выполняет роль “докладчика”, доводящего до адресата сведения об отправителе. Весьма вероятно, что именно такое происхождение имеют формы авторского третьего лица в челобитной Семенка-карела (№ 243).

Как видим, упоминание авторов берестяных писем в третьем лице представляет собой сложное коммуникативное явление, обусловленное действием целого ряда прагматических факторов и в зависимости от специфики коммуникативной ситуации конкретного текста допускающее различные объяснения.

Приложение

§ 27. Основу настоящего Приложения составили наблюдения над коммуникативной организацией и текстовой структурой отдельных берестяных грамот, которые по композиционным причинам или в силу большей гипотетичности предлагаемых решений не нашли себе места в основном тексте. В Приложение включены также поправки к чтению и переводам грамот, непосредственно не связанные с темой работы.

№ 27 (80-е – 90-е гг. XIV в.). В ДНД текст и перевод грамоты имеют следующий вид:

поклоно ꙗꙋ фалеа ко есифу послале
азо к тоби · бересто написаво въз
шли за[п]------[оє бересто] ... (|...)

‘Поклон от Фалея Есифу. Я послал к тебе берестяную грамоту, написавши [в ней]: вышли ...’.

В комментарии к грамоте А. А. Зализняк отмечает, что “*вышли* — по-видимому, от *выслати*, а не от *выйти*” и что “далее в тексте еще раз упоминалась берестяная грамота”. В более ранней работе исследователь предположил также, что словом *бересто* грамота могла и заканчиваться (НГБ IX, с. 127). Это предположение, не использованное при публикации текста в ДНД, заслуживает между тем решительной поддержки. Сохранившаяся часть нижнего края грамоты столь же ровная, как и верхний край, и, по-видимому, обрезана. Никаких штрихов, которые могли бы принадлежать буквам следующей строки, на ней не видно. Важнее всего, однако, следующее: в нижнем правом углу, где должна была бы заканчиваться третья строка, если

бы она, как и первые две, доходила до края листа, также нет никаких следов букв. Таким образом, есть все основания считать, что грамота дошла до нас полностью, за исключением небольшой (по оценке А. А. Зализняка, в 7 букв) лакуны в третьей строке. Это позволяет заново осмыслить общую структуру документа.

Согласно традиционному толкованию, автор грамоты ссылается на свое более раннее письмо к тому же адресату и цитирует его. Данная трактовка предполагает, что утраченная часть письма содержала продолжение цитаты и какое-то новое сообщение или просьбу. Но как быть, если никакого продолжения не было и за словом *написавъ* следовала всего одна короткая фраза? В принципе можно было бы допустить, что фраза ‘я послал к тебе берестяную грамоту’ относится к данному письму; ср. уже цитированную выше адресную формулу грамоты Ст. Р. 11: *Иванаа моловила Оимь*, где *моловила*, как уже говорилось, означает именно ‘послала (настоящую) грамоту, написав’. Однако в нашем случае это объяснение не проходит, так как письмо уже имеет адресную формулу обычного вида.

Все это заставляет пересмотреть принятое членение грамоты на синтагмы. Начало письма Фалея Есифу следует, на наш взгляд, читать: *Послале азо к тоби, бересто написаво* ‘Я послал к тебе [своего человека], написав “бересто”’. Важным, хотя и косвенным аргументом в пользу такого чтения является то, что между *тоби* и *бересто* стоит единственная в грамоте точка. Хотя расстановка точек в берестяных грамотах далеко не всегда соотносится с синтаксическим членением текста, в данном случае

такая пунктуация кажется вполне осмысленной, позволяя считать В. ед. *бересто* зависящим не от *послале*, а от *написаво*. Что же касается *послати*, то употребление его без прямого объекта хорошо известно древнерусским текстам и неоднократно встречается в берестяных грамотах. Подразумеваемым объектом является в таких случаях гонец, несущий весть, или же сама эта весть.

В предложенном прочтении первая фраза предстает как синтаксически законченная “экспозиция” грамоты (см. Зализняк 1987, с. 165). Вторая, содержащая императив *вышли*, выражает просьбу или требование, с которым автор обращается к адресату. Есиф, в ответ на посылку к нему Фалеем челоука с “берёстом”, должен выслать нечто Фалею. Что же именно? Слово *бересто*, которым заканчивается грамота, может быть в этом контексте лишь формой вин. падежа, управляемой или непосредственно императивом *вышли*, или же, как и в первой фразе, — относящимся к нему причастием, которое в таком случае должно было начинаться на *за-*. На *-ое* могла заканчиваться только согласованная с *бересто* форма местоимения, прилагательного или страд. причастия. Многое зависит от того, как понимать в этом контексте само слово *бересто*. Кажущееся очевидным значение ‘берестяная грамота’ нуждается, на наш взгляд, в некотором уточнении. Помимо данной грамоты, термин *бересто* представлен только в грамоте № 40: ... *неи гвозду, а стоать во потклѣтѣ, кто придетъ з берестомъ ...* Несмотря на фрагментарность этого текста, ясно, что автор сообщает адресату, где находятся некие вещи или продукты, на случай, если кто-то придет за ними “с берёстом”. *Бересто* здесь скорее всего — не просто берестяная грамота, а грамота вполне определенного содержания, по-видимому, представляющая собой перечень подлежащего передаче, который пришедший за ним должен был предъявить. Это могло быть предписание типа “возьми у такого-то столько-то” или “дай такому-то столько-то”, или же просто долговая запись — в любом случае “берёстом” назван здесь именно документ или, во всяком случае, запись документального характера. Прямую параллель к такому специализированному значению термина, называющего письменный текст по материалу, на котором он написан, представляет современное русское в *бумага* в значении ‘документ’.

Предполагая то же значение слова и в грамоте № 27, можно думать, что написанное Фалеем “берёсто” содержало перечень сумм или вещей, которые должен был выслать ему Есиф. При этом последний должен был что-то сделать с берёстом Фа-

лея или же написать свое “берёсто”. Речь в грамоте идет, таким образом, о некой финансовой или торговой операции, сопровождаемой обменом фиксирующими эту операцию записями.

Утраченный текст можно предположительно реконструировать. Заметим, что от буквы перед лакуной, восстанавливаемой А. А. Зализняком как *n*, хорошо видны только левая мачта и горизонталь. Следовательно, это может быть и *г*. На *заг-* в берестяных грамотах начинается только глагол *загладити*, обозначающий операцию вычеркивания возвращенных сумм из долгового реестра (см. о ней НГБ IX, с. 139). Это значение идеально подходит к контексту и позволяет предложить для утраченной части следующую конъектуру: *вышли, загладиво м[ое бересто]*. Смысл такого указания достаточно ясен: возвращая долг, полностью или частично, должник сам вычеркивал соответствующую запись в “берёсте” — это предохраняло от недобросовестности посылного и служило гарантией того, что деньги в целостности дойдут до кредитора.

№ 103 (кон. XII – 1 четв. XIII в.). С поправками, предложенными в НГБ IX, текст грамоты читается так:

пооклана ѿ завидѣ ко ф...
апо жь возми коро...
ги во [сь] гривѣ]н[о](у)

Отказавшись от словоделения издателей а *пожъ возми*, с вычленением слова *пожъ* (‘земля’, ‘пожня’), А. А. Зализняк предположил, что «*жъ* — это частица “же”, а *-апо* — конец какого-то слова, переходящего из первой строки». Однако подыскать словоформу, которая бы заканчивалась таким образом, затруднительно. По-видимому, *пожъ* — это все-таки отдельное слово, но только не существительное, а союз *поже* ‘и, а также’, образованный слиянием предлога *по* и частицы *же*. Оставшийся до последнего времени не описанным, этот союз совсем недавно был идентифицирован В. Б. Крысько (2001, с. 103–105). К двум приведенным в СДРЯ (6, с. 565) примерам из записей псковского писца XIV в. Козьмы-поповича можно теперь добавить еще один из рассматриваемой грамоты. В письме Завида, по-видимому, говорилось: ‘сделай нечто, а также возьми ...’. Слово, начинающееся с *коро-*, — это, очевидно, “корова” (виден и верхний левый угол от *в*), с чем хорошо согласуется и последующее *во [сь] гривѣ]н[о](у)* ‘за это (или на это) гривну’: гривна — подходящая цена для коровы (см., например, № 831). Из словоформ, оканчивающихся на *-зи*, к контексту более всего подходит *моги*. Допустима, в частности, конъектура: *пожъ*

возьми коро[в](оу оу X-а, а добыти моги во [св] гри-
в[б]н[о](у). Ср., с одной стороны, а цълье могий до-
бы(ти) в № 411, а с другой — добыво серебра в № 436.

Ближайшую структурную параллель к *поже* составляет остававшееся до последнего времени загадочным *приже* в Звен. 2, которое, по подтвердившемуся теперь предположению А. А. Зализняка (ДНД, с. 292), членится на *при* и *же*.

№ 112 (кон. XII – нач. XIII в.). После ряда поправок начальная часть грамоты читается в настоящее время следующим образом:

Ɱ ...а : ко : флароу : [се : е:с]и : полле : и:спо-
ло:вницоу : мою : те:лицоу : вода|... --[р]-во- со :
пле:ме:не:мо и:ли : ти : та:жа : а по:е:ди : во го:родо :

Понимание этого текста значительно продвинула предложенная в работах Орел, Кулик 1995 и Журавлев 1997 трактовка слова *испововница* как ‘корова, взятая на время на договорных условиях’. Эта принципиальная лексическая поправка должна быть, на наш взгляд, дополнена и иным синтаксическим членением текста. При сохранении предложенного в издании деления на фразы (*полле испововницоу мою, теллицоу вода-*) получается, что взявший испововную корову адресат должен отдать назад телку и корову с потомством. Почему наряду с потомством коровы отдельно упоминается телка, остается в таком случае неясным. Ситуация между тем проясняется и приходит в полное соответствие с этнографически засвидетельствованной практикой, если переместить запятую на слово влево, отнеся слово *теллицоу* не ко второй фразе, а к первой: *Се еси полле испововницоу мою теллицоу, водае коровоу со племенемо* ‘Вот ты взял мою телку испововницей, отдай же корову с потомством’. В грамоте, таким образом, упомянуты не два разных животных — телка и корова, а одно, изменившее за время его использования арендатором свой “статус”, превратившись из телки в корову. Лингвистическая ценность такого переосмысления заключается в том, что в новом прочтении грамота содержит яркий пример употребления существительного в роли второго винительного, которое до сих пор было засвидетельствовано исключительно книжными памятниками (см. Потенба 1958, с. 301–304).

№ 156 (сер. 30-х — 50-е гг. XII в.). Это, безусловно, один из наиболее загадочных берестяных документов. Грамота сохранилась полностью, и основной ее текст имеет вид:

отъ завида къ мън къ женѣ и къ
дѣтьмъ а женоу ти били не измоучили
чѣго же

После того, как этот текст был написан, между строк (над первой и второй строками) в средней части грамоты той же рукой, хотя и более мелким почерком, была вписана фраза:

къ лоукѣ иди

В издании для основного текста грамоты был предложен перевод: ‘От Завида к Мон... к жене и к детям. Жену твою били, жаль, что совсем не замутили’. Сознавая всю нелепость получающегося смысла, А. В. Арциховский мог объяснить его разве что “раздраженным состоянием автора”. Неудовлетворительность такого толкования попытался преодолеть Л. В. Черепнин (1969, с. 43–44), направивший обсуждение текста в юридическое русло. В этом направлении ориентированы также перевод и комментарий А. А. Зализняка (ДНД, с. 266): “От Завида к жене и к детям. А вот женщину-то били, почему же не поставили ее на пытку? /.../ Очевидно, речь идет об известном автору и адресатам событии — расправе над какой-то провинившейся женщиной (по-видимому, из чужих, поскольку иначе она была бы названа по имени)”.

И в таком прочтении, однако, грамота продолжает производить крайне странное впечатление. Не оставляет ощущение изуверской жестокости автора, особенно поражающей в письме “к жене и детям”. Загадочным остается также начатое и брошенное *къ Мън* (имя первого адресата?), не говоря уже о странной приписке между строк, непонятно к кому обращенной и как связанной с основным текстом письма.

Разорвать этот порочный круг попытался А. Б. Страхов (1999, с. 299–302), предложивший словоделение и перевод основного текста грамоты, не оставляющие от традиционного чтения буквально камня на камне, т. е. ни одного однозначного слова: *а женоу ти били не измоучи, личе гоже* ‘А охочусь на белок, не лова. “Лицевая” шкурка хорошая’.

Эту отчаянную попытку вписать в строки грамоты “человеческий” смысл трудно признать удачной. Обладая некоторой видимостью достоверности, создаваемой интересным лексикографическим материалом по промыслу белки и вообще пушного зверя, чтение А. Б. Страхова, по существу, складывается из одних только натяжек и аномалий — фонетических, грамматических, лексических. Если прочтение *били* как *бѣль* в оговорках еще можно было бы принять (хотя это написание — при правильном употреблении *ѣ* в трех других случаях — и оказывается в таком случае древнейшим свидетельством перехода *ѣ* в *и* в берестяных грамотах), то выделение словоформы *измоучи*, трактуемой как несогласованное действительное причастие на-

стоящего времени со значением ‘ловя’, — есть уже откровенное насилие над лексикой и грамматикой. Вернее, по отдельности и с лексикой, и с грамматикой вроде бы всё обстоит хорошо: с одной стороны, имеются примеры презентных форм глагола *изъяти*, в том числе и с пропуском *ь*; с другой — в диалектах представлен глагол *изымать* ‘поймать, изловить’. При этом А. Б. Страхова нимало не беспокоит совершенный вид этого глагола и то, что приставка *из-* выступает в нем именно как средство образования перфектива. Напротив, в *изъяти* (коррелирующем с *вы(и)яти*) приставка, не меняя вида глагола, создает новое лексическое значение, не имеющее отношения к ловле зверя. *Изымати*₁ как несов. вид к *изъяти* внешне совпадает с *изымати*₂ — сов. вид к *имати*; между тем это разные глаголы, противопоставленные и по значению, и в формальном плане. Предполагаемое же А. Б. Страховым *из(ь)мучи* ‘ловя’ невероятным образом соединяет вид *изымати*₁, значение *изымати*₂ и форму *изъяти*. То, что этот лексико-грамматический гибрид выступает еще и в несогласованной форме жен. рода (в то время как в данной синтаксической позиции причастия в берестяных грамотах в раннедр.-русс. период последовательно сохраняют согласование), само по себе уже большого значения не имеет. Очень странной оказывается в переводе Страхова и заключительная фраза. Что может означать “лицевая” шкурка хорошая, если “лицевая” шкурка — это, согласно цитируемому Герберштейну, и есть по определению самый хороший мех, причем прилагательное *личной* в этом сочетании является производным от *лице* ‘образец товара’, имеющего весьма отдаленное отношение к ситуации охоты?

Отказавшись таким образом от идеи видеть в грамоте № 156 письмо домой лихого охотника, бьющего белок “не ловя”, мы остаемся перед загадкой, которую ставит перед интерпретатором традиционное словоделение. Попробуем предложить свой вариант ответа, опирающийся на предположение о нестандартности коммуникативной организации этого текста.

Обратим внимание на два обстоятельства. В письме, адресованном жене (и детям), речь идет об избивении “жены”. Случайно ли это совпадение, и не означает ли оно, что избита была именно жена, а не просто женщина? Употребленное без определения, слово *жена* может относиться либо к жене адресата, либо к жене автора. Тупиковость первого варианта продемонстрирована самим издателем грамоты. Не была ли избитая женщина женой самого автора письма? В избивших в таком случае следует предполагать кого-то из его детей. Глагол

во фразе *а женоу ти били* ‘а вот избивали [мою] жену’ может быть как 2-м л. без связки (что, впрочем, грамматически маловероятно), так и 3-м, если автор, обращаясь ко всем детям, имеет в виду только виновников происшествия.

Продолжение фразы *не измочили чего же* может быть понято в этом контексте как облеченная в форму риторического вопроса издевка и угроза. Риторика здесь сходна с той, к которой прибегает Владимир Мономах в письме к Олегу, предлагая недавнему убийце своего сына, если он желает крови, не останавливаться и убить еще и младших братьев (*Али хочещи тою убити — а то ти еста!*). Можно вспомнить также Анну из грамоты № 531, предлагающую брату убить ее, если выяснится, что она действительно виновата (*ты же ма и потени не зерж на Федора*).

Жену автора вряд ли могли избить ее родные дети — в таком случае ожидалось бы “мать”, а не “жену”. “Вычисляемая” таким образом ситуация — мачеху избивали пасынки — типичный для древней Руси семейный конфликт, рассматриваемый в целом ряде юридических текстов. В фонде берестяных грамот его иллюстрирует грамота № 415 (40-е – 50-е гг. XIV в.): *Поклоно ѿ Фовронее к Филиксу с плацою. Убиле ма пасынке • и • выгониле ма изо двора. Велише ми ехате в гоородо, или самъ поеди семо, убита есемо* ‘Поклон от Фовронии Филиксу с плачем. Избил меня пасынок и выгнал со двора. Велишь ли мне ехать в город? Или сам поезжай сюда. Я избита’.

Обратимся теперь к еще одной загадке нашего текста — последовательности *къмън*, содержащей, по общему мнению всех писавших о грамоте, недописанное имя первого адресата письма. Несколько обстоятельств делают такую трактовку сомнительной. Во-первых, древнерусские имена, начинающиеся на *Мън-*, неизвестны. Более того, корень *мъног-* — единственный подходящий — в богатейшем фонде славянских языческих антропонимов вообще не представлен, что практически лишает почвы предположение о незасвидетельствованном имени типа **Мъноговои*. Не сильно меняет дело и допущение, что *ъ* в данном случае соответствует *о* (само по себе маловероятное, ввиду отсутствия в грамоте других отклонений от графического стандарта). Славянские имена с начальным *Мон-* тоже, как кажется, неизвестны. Но даже если предположить, что первым адресатом грамоты был некий **Монуйла* (такого рода замены *а* на *о* в христианском именослове берестяных грамот имеются), остается вопрос: почему имя главного адресата грамоты осталось недописанным?

Важно и то, что слово было не просто недописано. Его окончание не было пропущено писавшим по невнимательности — оставленное пустым место перед последующим *къ* показывает, что слово, начинавшееся на *мьн-*, было начато и брошено, после чего писец взял новое начало с небольшим отступом (заметим, что никаких дефектов береста в этом месте не имеет). Причина могла быть только в том, что писавший осознал неправильность выбранной им поначалу формулировки и отказался от нее.

Что же в таком случае стоит за недописанным *мьн-*? Рискнем предположить — сознавая всю парадоксальность такой гипотезы, — что недописанной оказалась наиболее частотная древнерусская словоформа, начинающаяся таким образом, — дат. падеж ед. числа личного местоимения 1-го л. *мьнѣ*. Предположение, что письмо должно было первоначально быть адресовано “ко мне”, может показаться абсурдным. Однако в контексте наших наблюдений над нестандартными коммуникативными структурами берестяных писем такая формулировка представляется далеко не бессмысленной. Вспомним, что в фонде берестяных грамот имеется документ, адресованный “к тебе” (грамота № 771), что также представляет собой явную аномалию. Природа ее достаточно очевидна. Любое частное письмо является, в сущности, обращением “от меня к тебе”, и это непосредственное ощущение прорывается в данном случае сквозь правила эпистолярного этикета, требующие указания в адресной формуле имен автора и адресата.

Как было показано выше, формальным адресатом грамоты или определенной ее части может быть отправляемое с этой грамотой лицо (курьер). С другой стороны, как мы видели, посыльный может принимать на себя и роль писца (см. § 2.6). На пересечении этих возможностей мы вправе предполагать и такую гипотетическую ситуацию, когда грамота пишется под диктовку автора одним из ее адресатов. Не с этой ли ситуацией мы встречаемся в рассматриваемом документе?

Представим себе теперь следующую картину. Избитая пасынками жена Завида является к мужу, находящемуся где-то вне Новгорода (таков один из вариантов развития событий в грамоте № 415). Разгневанный муж, чтобы приструнить обидчиков, обращает к ним свою издевательскую реплику, однако записывает ее под диктовку мужа сама пострадавшая. “К тебе и к детям”, — диктует Завид. “От Завида ко мн(е и к детям)”, — начинает писать жена, но, осознав нелепость такого обращения, исправляется: “к жене и к детям”.

Объясняя таким образом появление недописанного *мьн-* в адресной формуле, мы должны отве-

тить еще на один вопрос: почему письмо адресовано жене и детям, если его фактическими адресатами являются только дети Завида, избившие свою мачеху. Выше мы видели, что расхождение между фактической и титульной адресацией берестяных писем связано, как правило, с семантикой приветствия, передаваемой адресной формулой со словами *покланяние*, *поклон* и др. В данном случае о ней, естественно, говорить не приходится. Следовательно, если верно наше понимание грамоты, в письме должен присутствовать смысловой компонент, адресатом которого является жена Завида. Это заставляет нас вспомнить необычную приписку между строк: *къ Лоукѣ иди*. До сих пор, заметим, оставалось вообще без объяснения, к кому обращена эта форма императива единственного числа в письме, адресатом которого является группа лиц. Невозможно было объяснить и странное расположение приписки — между строк в середине текста грамоты, при том, что писавший располагал большим пустым пространством внизу берестяного листа, на котором при желании можно было бы разместить еще пару фраз. Предлагаемая трактовка позволяет понять, почему, несмотря на это, для приписки было выбрано столь неудобное место. Элементом текста, к которому оказалась “привязана” приписка, является все то же недописанное *къ мьн-*. Не означает ли это, что слова “иди к Луке” как раз и обращены к жене Завида? О смысле этого указания можно лишь догадываться. После конфликта с пасынками жена Завида должна была найти себе какой-то временный кров в Новгороде, и с этой целью муж мог направить ее к кому-то из родственников.

При известной экстравагантности предлагаемого толкования оно кажется единственным, которое, объясняя странности оформления текста, представляет бытовую ситуацию грамоты как заурядный семейный конфликт. Как и в других рассмотренных выше случаях, нестандартной оказывается не бытовая, а коммуникативная ситуация грамоты, а также своеобразная риторика, которую, видимо, вслед за А. В. Арциховским, следует объяснять “раздраженным состоянием автора”.

№ 186 (70-е – нач. 80-х гг. XIV в.):

поклоно ѿ стѣпана ко смьнку
возми · оу · кануниковыхо · де
сать лосои · а · другую деса
ть возми · оу · далилки оу бѣ
шкова · а · да · и · смьну фларе
ву · а · а · зо тобѣ са кла
на · ю ·

Хотя традиционное толкование этого текста, согласно которому адресат грамоты Семенко должен передать собранную им рыбу Семену Флареву, в принципе вполне удовлетворительно, обратим внимание на возможность альтернативной интерпретации. После пересмотра ситуации грамоты № 420 (см. § 12) грамота № 186 остается единственной в фонде берестяных документов, построенной по сценарию “возьми у X-а нечто и дай Y-у”. Кажется несколько странным, что в этом единственном случае имя Y-а совпадает с именем адресата грамоты: Семенко должен отдать рыбу Семену. Это, конечно, может быть и простым совпадением, но аналогия с грамотой № 420 делает, на наш взгляд, более вероятным другое решение: Семенко и Семен Фларев — одно лицо, а грамота, начиная со слов *a dai*, обращается к тем, у кого надлежит забрать рыбу, — Данилке Бешкову и Канунниковым (в лице кого-то одного из них). При этом, в отличие от № 509, где последовательность императивов *возьми*, обращенных к сборщику платежей, включает обращение к плательщикам во множественном числе (*дайте*), здесь мы находим единственное число *dai*. Примечательно, что перед заключительной формулой *азо тобѣ са кланю* стоит еще одно зачеркнутое *dai*. Похоже, что автор, имея в виду двух лиц (кого-то из Канунниковых и Данилку Бешкова), хотел было обратиться к обоим по отдельности, но справедливо решил довольствоваться одним обращением, которое каждый из его контрагентов мог отнести на свой счет. Еще раз подчеркнем гипотетичность такого решения.

№ 206 (и другие грамоты Онфима, 2-я треть XIII в.). Грамота содержит запись складов на *a* (*ба, ва, га ...*), которой предшествует отрезок *иже во ѿчѣ насѡ*. Предметом острой дискуссии стал вопрос, следует ли видеть в этом фрагменте запись даты, и если да, то какой именно. Обобщив высказанные на этот счет точки зрения, А. А. Зализняк (НГБХ, с. 91–92) пришел к заключению, что Онфим, еще по-настоящему не освоивший цифр, неумело имитировал написание даты 6771, т. е. 1263 г. Относительно контекста, в котором эта дата находится в упражнении Онфима, А. А. Зализняк замечает: “К сожалению, вообще нет гарантии, что отрезок *иже во ѿчѣ насѡ* — это часть какой-то единой фразы: например, грамота № 207 показывает, что Онфим мог иногда просто нанизывать слова или даже куски слов. Если все-таки исходить из того, что этот отрезок связан, мыслимы разве что вольные предположения вроде: *благословенъ Господь иже въ* (подразумевается: *лѣто*) *ꙗꙋꙋа насъ житьи* (или:

насъ милуютъ; или: *насъ допровади* и т. п.); церковная стилистика подсказывается словом *иже*. Однако если для фраз с таким смыслом, не содержащих точной даты, можно найти аналоги (например, у Мономаха: *и похвалихъ Ба иже ма сихъ днѣвь грѣшинаго допровади* [Лавр., л. 78]), то сходных примеров с указанием даты мы привести не можем. Таким образом, серьезной привязки к контексту дата в грамоте № 206 не имеет”.

Представляется, что вопрос этот все же может быть решен. Поскольку многие слова в записях Онфима оборваны, нет оснований видеть в отрезке *насѡ* обязательно форму личного местоимения. Рядом с годовой датой его, на наш взгляд, естественнее всего трактовать как начатую и не доведенную до конца дневную дату “святочного” типа: *на со(боръ)*. Из святочных дат, представленных в НПЛ, “на собор” — одна из наиболее часто встречающихся; см., например: *новгородьци послаша са по Романа Смольньскоу и въниде на соборъ по чѣтѣи не^д* (1178 г.); *и постави ю вѣдка на соборъ стѣна Евѣфиміе* (1195 г.); *тѣгда же на соборъ оубиша проусі Овьстрата и сѣѣ юго Лоуготоу* (1215 г.); *и поставиша и игоуменомъ марта въ .ii. на стѣго Феѣилакта на соборъ* (1226 г.); *поставленъ бѣѣ по^пмъ въ сѣропоу^сю не^д, архієсплмъ по чѣтѣи не^д на соборъ* (1230 г.).

Уверенность в таком прочтении этого отрезка придает то, что непосредственно за ним начинаются склады (*ба, ва, ...*), и таким образом *б*, необходимое для чтения *на соборъ*, фактически имеется в тексте. Можно считать, что Онфим стал писать слово *соборъ* и, дойдя до *б*, бросил его и переключился на запись складов, начинающихся с этой буквы. А. А. Зализняк уже обратил внимание на неслучайность перехода от текста к складам в другой грамоте Онфима (№ 204): *ако же бе ве ге де же ...*, где огласовка ряда складов явно задана последним гласным текстового фрагмента. Тот же принцип он предполагает и в грамоте № 206, считая *a*-огласовку складов спровоцированной последним ударным гласным в *насѣ*. Однако в отличие от № 204 в № 206 действие этого принципа далеко не очевидно: выбор огласовки складов здесь в специальном объяснении не нуждается, так как записывается их абсолютное начало. С другой стороны, в № 204 существенным кажется не только единство гласного, но и то, что текстовый фрагмент заканчивается односложной частицей, которая сама по себе является одним из первых складов. Именно это скорее всего и подтолкнуло Онфима к такому продолжению: начав записывать склады, он через три позиции снова дошел до *же*. Всё это позволяет не-

сколько иначе понять логику соединения фрагментов в № 206, увидев связующий элемент не в гласном *a*, а в согласном *b*, в равной степени принадлежащем предыдущему и последующему фрагментам.

Это дает нам ключ и к начальной части грамоты. В позиции абсолютного начала текста последовательность *иже во* (связать которую с продолжающей ее датой в рамках сколько-нибудь правдоподобно выглядящей единой фразы, как уже говорилось, не удастся) получает естественное объяснение как часть стандартной формулы *иже въ (святыхъ отца нашего)*. С другой стороны, предлог *въ*, которым заканчивается этот отрезок, органично сочетается со следующим за ним обозначением года. Таким образом, в грамоте № 206 мы имеем дело с соединением трех самостоятельных фрагментов — формулы *иже во (святыхъ отца нашего)*, записи даты *во ѿшѡа на съб(оръ ...)* и складов *ба, ва, га ...*, — произведенным “внахлест”, при помощи общих для них подчеркнутых элементов.

Тот же принцип соединения фрагментов можно наблюдать и в грамотах Онфима, содержащих обрывки литургических текстов:

№ 207: ако со нами бѡ | ѡслышите | до посл ѡ
ако|ко же мо ли|ѡе твоѡ на ра|ба твоѡго бѡ

№ 331: ... |го слово пло|щ|... |гю аще на не азо |
ги не дростию .

В первом из этих текстов Н. А. Мещерским были опознаны три фрагмента из следованной Псалтыри: *ако со нами бѡ; ѡслышите до послѣднихъ земли*; (*обратн*) *личе твоѡ на раба твоѡго бѡ(родице)*. Тот факт, что третий фрагмент, в отличие от первых двух, Онфим начал с середины фразы, вряд ли случаен. Его можно объяснить тем, что слово *личе* “выросло” под пером Онфима из недописанного *моли(мъ ся)* или *моли(тва)*. Точно так же и изолированное *ѡ*, соединяясь с предшествующим *посл* из *послѣднихъ земли*, дает начало одной из словоформ *послу(шати)*, вполне уместной в молитвенном контексте. В последовательности *послѡко|коже моли* (с ошибочно повторенным при переходе на новую строку слогом *ко*) можно даже усмотреть начала смежных фрагментов вроде *послу(шаеши ...)*, *яко же моли(мъ ти ся ...)*; ср. отрезок *ащананазо* в № 331, в котором опознаются начала обеих частей стиха 3 псалма 26: *аще (въстанеть на ма брань), на нѣ) азѣ) (оуповаю)*. В самой грамоте № 331 интересующий нас эффект также представлен: отрезок *словопло|щ|* явно представляет собой результат наложения *слово* и *воплощ-* (*воплощено? воплощся?*), в котором, на фоне других рассмотренных выше фактов, едва ли следует видеть обычную гаплографию.

Наконец, в том же ряду следует рассматривать и странное *доложзикѣ* 202, в котором, как уже отмечалось (ДНД, с. 387), последовательность *жзик* скорее всего перенесена из азбуки. Вряд ли Онфим случайно сбился в написание азбуки именно в этом месте. По сути дела, и здесь мы находим соединение двух фрагментов (словоформы *доложкѣ* и азбучной последовательности *жзик*) при помощи общих элементов (*ж* и *к*), с той разницей, что один из фрагментов не продолжает другой, а вклинивается в него посередине. По-видимому, последовательность *жк* в записываемом слове навела Онфима на мысль об азбуке, в которой эти буквы занимают близкие позиции, и он обыграл эту ассоциацию, включив соответствующий азбучный фрагмент в свою запись.

Указанный принцип соединения фрагментов обнаруживается, таким образом, в пяти из двенадцати дошедших до нас грамот Онфима. Если же вычестъ из общего числа грамоты, содержащие только склады и азбуки (№ 200, 201, 205), а также обрывок (№ 208) и подпись к рисунку (№ 210), то доля текстов, охваченных данным принципом, окажется еще более впечатляющей (5 из 7). Важнее, однако, что ученические записи Онфима выглядят в предложенном прочтении далеко не столь хаотичными, какими казались до сих пор: в них обнаруживаются явные признаки словесной игры. Смысл ее заключался в нанизывании фрагментов текста — частей фраз, слов, складов, фрагментов азбуки, — сцепленных между собой общими элементами. Порядок этой игры “в слова” представляется примерно следующим. Онфим начинал записывать какую-то фразу и, миновав точку, в которой текст становился узнаваемым, “уходил в сторону”, используя последние написанные буквы в качестве начала новой фразы (слова, складов).

Стоит заметить, что предлагаемая трактовка записей Онфима несколько не противоречит традиционному взгляду на них как на ученические упражнения; более того, игровой эффект, достигаемый необычной записью текста, сближает их с грамотой № 46 — читаемой по вертикали столбец за столбцом школьной шуткой.

Хотя прямых аналогий игре Онфима в древнерусском материале не просматривается, общий принцип, на котором она строится, хорошо известен: он лежит в основе лигатурного письма, суть которого состоит именно в соединении фрагментов письменного текста через общие элементы. То, что делает в своих грамотах Онфим, есть по существу распространение этого принципа с буквенного уровня на словесный. Нечто похожее можно

наблюдать в декоративном письме на иконах, где на фоне интенсивного использования буквенных лигатур не кажется случайной гаплографией и следующее обозначение сюжета “Воскрешение Лазаря” на иконе середины XV в. из Русского музея: *лѡзѡрѣвоскресѣньѣ* (Смирнова, Лаурина, Гордиенко 1982, с. 243–244).

№ 259/265 (из блока Григория). Полностью текст грамоты в настоящее время читается так: *Приказо ѿ Григорѣи ко Домѣниѣ. Послало късьмо к тобѣ вѣ[дѣ]роко ѡ[с]е[т]ринѣ за[п]е...⁷ ... [а] само тамо не леж[и] тѣ] восплатѣ во Лугу иди. А ты, Репехо, слушаѣ Домни и ты, Фовро. Для первой фразы после разрыва А. А. Зализняк предлагает два варианта перевода, выбор между которыми зависит от истолкования слова *само*: ‘... А там не очень задерживайся (*или*: А сам там не задерживайся) — иди обратно в Лугу’. Как бы то ни было, кажется весьма вероятным, что “наказ о возвращении в Лугу относится уже не к Домне, а к кому-то из мужчин (при переводе ‘а сам ...’ такая гипотеза становится даже обязательной)” (ДНД, с. 504). Таким образом, помимо титульного адресата (Домны) и Репеха с Фоврой, к которым обращена последняя фраза, грамота имеет еще одного адресата. Судя по указанию идти “назад в Лугу”, этим адресатом вполне мог быть Недан, упоминаемый в другом письме Григория к Домне (№ 134): *а Недана пошли во Лугу ко Илшну дни*. Каким же образом имя Недана (или любого другого пришельца из Луги) вводилось в грамоте? В принципе можно допустить, что за адресованным Домне сообщением о посылке осетрины следовало указание Недану сделать нечто и, не задерживаясь, отправиться назад в Лугу, однако такая реконструкция кажется довольно надуманной и тяжеловесной. Более вероятно, что в продолжении первой фразы было сказано, каким образом и с кем отправлено ценное ведро. К упомянутому таким образом посылному автор и обращался далее: ‘а сам там (т. е. в Новгороде) не задерживайся — иди назад в Лугу’. Ср. в приведенной выше (§ 17) грамоте Торж. 10: *а самого послѣ сѣмо*, где ‘сам’ также относится к курьеру, хотя курьер этот выступает не в роли адресата, а как объект действия автора.*

⁷ Для данной словоформы представляется вероятной конъектура *запеч(ч)атано* или *запеч(ч)атавъ*. Употребление данного глагола в отношении ценных пород рыбы свидетельствуется примером из Сл. XI–XVII (5, с. 263): *А на всякой гсдрь подводе всякая рыба на нити пронизана и запечатана за печатью стряпчего Стефана Тимофѣва Скарятина*.

№ 295 (стратигр. 20-е – 30-е гг. XIII в., Неревск. Е)

(... |) ... з[н]ать[е]в свою : и] жер[е]б[и] р[о]щ[е]пив[е]ше [с]ъ] вами : по|... ... (м)[ѣ]ж[м]ь вѣд[ан]иѣ оп[а]ть : и о стар[ы]хъ к[н]з[а]хъ о :н[и] : гр[и]нъ : пакы ли али [а сл]ю [дѣ]---|... ... вѣд[е] · погон[а] :

Перевод грамоты в ДНД: ‘... [поставив (?)] знак свой и расцепивши с вами жеребей (здесь: деревянную палочку с зарубками) ...’ После разрыва: ‘... [вам с тем (?)] мужем расчет заново также и по поводу пятидесяти гривен старыми кунами (*другой вариант*: по поводу прежних денег — пятидесяти гривен). В противном случае я посылаю [детского и такая-то сумма] будет погоня’.

Этот перевод и соответствующее ему понимание ситуации грамоты нуждаются, на наш взгляд, в некоторой коррекции. Частичная конъектура для разрыва между концом первой и началом второй строки исходит из того, что упоминаемый здесь “муж” — это лицо, с которым адресатам грамоты предстоит расчет. Странно, однако, что не указано имя этого лица и что рассчитаться с ним нужно “опять”. Эти странности снимаются, а ситуация грамоты становится вполне тривиальной, если считать, что “муж” — это доставивший грамоту курьер, с которым автор предлагает адресатам отправить ему обратно (*опять*) отчет (*вѣдание*) о выполнении поручения. Вероятной конъектурой для этого места представляется, таким образом: *По(сл)ите же съ симъ м)[ѣ]ж[м]ь вѣдание оп[а]ть*. Аналогию такой ситуации находим в грамоте № 296, автор которой, обращаясь к брату с просьбой прислать ему денег, добавляет: *а естѣ мжжъ, съ нимъ*. При этом становится ясен и смысл заключительной фразы грамоты № 295: предлагая адресатам прислать отчет с тем же “мужем”, который доставил им его письмо, автор заявляет, что иначе он вынужден будет прибегнуть к услугам официального лица — детского, дорожные расходы которого (*погоня*) адресатам придется оплатить. Очень похожая ситуация представлена в грамоте Звен. 2: там, как мы уже видели, автор тоже предписывает адресату отдать деньги явившемуся к нему с грамотой посылному и угрожает в противном случае приехать с княжеским детским, что обойдется адресату значительно дороже.

Слово *вѣдание* можно было бы в этом контексте понимать просто как ‘извещение, уведомление’. Это значение засвидетельствовано словарями, однако представлено исключительно в сочетании *дати вѣдание*, то есть является фразеологически связанным. Правильнее поэтому, вслед за А. А. Зализняком, связывать данное словоупотребление с глаголом *вѣдатися* ‘рассчитываться’, видя в нем,

однако, обозначение документа, фиксирующего расчет, а не расчета как действия, то есть *nomen acti*, а не *nomen actionis*.

То же значение слова представлено скорее всего и в грамоте № 719, где данная лексема до сих пор опознана не была. В издании текст грамоты опубликован в следующем виде:

ПОКЛАНАНИЕ ѿ ДОМА... .. (ПОС)АДЪНИКУ ГОДЪ ТИ СЪЛО
ВОЗАТИ А СЫНО ТИ М[Ъ]... (...) ...[Ъ] ДАНИЕ ВОСОЛИ

Вычленяемое здесь слово *дание* ‘дар’ не очень хорошо подходит к контексту как по значению, так и стилистически, неся на себе явный отпечаток книжности. Параллель с грамотой № 295 позволяет членить и понимать текст иначе: (ѿ)[Ъ]дание *восоли* ‘вышли расчет’. Заметим, что буква, трактованная в издании как *ь*, может быть, судя по прориси, с бóльшим основанием определена как *ѣ*, что делает конъектуру (ѿ)ѣдание практически гарантированной.

В начальной фразе грамоты № 295 отражена, согласно комментарию в ДНД, «процедура изготовления долгового документа на деревянной бирке: на деревянной палочке или плашке делались зарубки, символизирующие суммы долга (денежного или натурального), после чего палочку расщепляли на две одинаковые части; одну из них получал заимодавец, ее копию — должник. На бирке могла делаться также запись (см. НГБ VIII, с. 81–82) или ставиться особый знак (“знятьба”) участника сделки» (ДНД, с. 389). То, что в грамоте действительно говорится о расщеплении долговой бирки, вряд ли может быть поставлено под сомнение. Спорной представляется, однако, трактовка “знятьбы” как особого личного знака. Новгородские долговые бирки, материал которых в настоящее время обстоятельно исследован Р. Ковалевым (2001), не несут на себе, помимо зарубок и записей, никаких других знаков, которые могли бы претендовать на роль “знятьбы”. Оставаясь в рамках гипотезы о связи “знятьбы” с процедурой изготовления бирки, можно предположить, что таким образом назывались сами зарубки, обозначающие сумму долга. Для непротиворечивого истолкования грамоты № 295 данного предположения в принципе достаточно. Однако в более широком контексте оно представляется лишь шагом к решению вопроса.

В фонде берестяных грамот слово *знятьба* еще раз представлено в грамоте № 705, где его значение также составляет проблему. Автор грамоты Домажир предлагает Якову в случае смерти своей сестры (жены Якова) прислать к нему сына “с ее знятьбой”: *оце ю Бо поемете, а присоли соно (вм. сыно) ко мене со ее знатебою, оте побоуде сыно у мене, а а са имо потешоу, и посолоу ю опате во городо*. Коммен-

тируя грамоту при первой публикации, В. Л. Янин высказал предположение, что «под “знятьбой” можно понимать некий документ со знаком (печатью, свидетельством послухов), скорее всего — завещательное распоряжение сестры Домажира» (НГБ IX, с. 96). Альтернативное объяснение принадлежит В. Н. Топорову, предложившему толковать слово в данном контексте как синоним для *знание* ‘знакомые, родня’ (см. ДНД, с. 350).

Заметим, что второе из этих решений было предложено в то время, когда слово *знятьба* в грамоте № 295 еще не было прочитано. Между тем, располагая двумя словоупотреблениями, естественно исходить из презумпции того, что в обоих случаях мы имеем дело если не с одним и тем же, то по крайней мере с близкими значениями, связанными через семантический “общий знаменатель”, то есть с одной и той же лексемой, а не с омонимами. Очевидно также, что этот общий знаменатель может находиться лишь в области финансовых, а не семейно-бытовых отношений. В этом смысле исходное объяснение В. Л. Янина выглядит предпочтительным, нуждаясь, однако, в небольшой модификации.

Связующим два контекста значением является, на наш взгляд, ‘долговая запись’. Поясним эту мысль. Выше мы допустили, что “знятьбой” могли называться зарубки на долговых бирках, обозначающие суммы долга. В дописменную эпоху эти зарубки были единственным способом маркировки бирок. С распространением письма на бирках начинают появляться также записи (см. НГБ VIII, с. 81–88). Поскольку “знятьба” в самом широком смысле слова есть знак, точнее, совокупность знаков, данное название могло быть с легкостью перенесено с ряда зарубок на сопроводительный буквенный ряд. Чаще всего на бирках записывались имена должников, дополняя информацию о сумме долга, переданную зарубками. В других случаях (№ 4) запись могла включать и указание самой суммы; эта часть информации оказывалась, таким образом, выражена дважды — символически и словесно. Наконец, одна из записей (№ 2) по форме ничем не отличается от долговых записей на бересте вида “у X-а столько-то, у Y-а столько-то”. Допустимо предположить, что такие берестяные грамоты могли функционировать как своего рода словесное приложение к долговой бирке, эксплицирующее информацию, символически переданную зарубками. Название “знятьба” в таком случае могло распространяться и на грамоту. Другим термином для такого рода текстов была *дълъжьница*, упоминаемая в грамоте № 449 (см. ниже).

С другой стороны, что, как не долговую запись, представляет собой древнейшая форма заве-

шания? Самый ранний из известных сегодня образцов этого жанра — берестяная грамота № 818 (3-я четв. XII в.) — отличается от обычной долговой записи лишь упоминанием денег, находящихся “в туле”, и заключительной фразой *А се даю въхо братоу*. Примерно так, надо думать, выглядела и “знятьба” сестры Домажира, которую он, в случае смерти сестры, рассчитывал получить от Якова.

Принимая, таким образом, предложенное В. Л. Яниным толкование слова *знятьба* в грамоте № 705, мы должны сделать к нему следующую поправку: “знятьбой” этот текст назывался не потому, что содержал некий авторский “знак”, а потому, что в основе его была обычная долговая запись, генетически восходящая к зарубкам на долговых бирках, которые первоначально и назывались “знятьбой”.

Очерченная выше схема семантической эволюции слова *знятьба* как кредитно-финансового термина (‘зарубки на долговой бирке’ → ‘запись на бирке’ → ‘долговая запись’ → ‘долговая запись в функции завещания’) носит, конечно, гипотетический характер и нуждается в более обстоятельном обосновании. Что же касается грамоты № 295, то ее ситуация в свете нашей гипотезы видится следующей. Обращаясь к своим представителям, осуществляющим сбор денег с его должников, автор напоминает, что выдал им долговую запись (“знятьбу”), расщепив с ними жеребий (деревянную палочку с зарубками), и требует с этим же курьером прислать ему отчет (“веданье”) как о ходе данной операции, так и о ранее порученных адресатам деньгах (50 гривнах).

№ 346 (кон. XIII в.)

Ѡ микиѠора : ко тѣтоке молови ра-
темирѠ · оти са соцете со моноу молови
ж[ѣ] .. [а]ле во торожеж[ѣ]
... [р]ажже лихѠ деете

Для последней строки вероятной представляется конъектура: (*А Х-а не наражже: лихо дееть* ‘А Х-а не отряжай: плохо исполняет’. Ср., с одной стороны, в № 160: *нарадите же мжжсь*, а с другой — в № 163: *А Къзекѣ соци, абы не истъралѣ кѣно: лихе есте*. Грамота № 163 содержат указание адресату продать коня; его непосредственным исполнителем должен, очевидно, выступить “дурной” Кузька. В рассматриваемом документе поручение тетке “сказать” нечто Ратмиру и еще кому-то также не означает, что тетка сама отправится разносить эти вести. *Молви* в этой ситуации следует понимать просто как ‘сообщи, передай’; очевидно, предполагается, что с этими сообщениями (в устной или пись-

менной форме) будет отправлен кто-то из слуг. Но только не Х, о котором автору известно, что такого рода поручения он исполняет плохо.

№ 377 (посл. треть XIII в.)

Основной текст грамоты, представляющей собой брачное предложение, прочитан в ДНД полнее, чем в издании: *Поиди за мьне, азъ тѣбе хоцю, а ты мене. А на то послоухо Игнато Мо[исикѣвъ а во]ж[и] ...* Оставшееся неидентифицированным последнее слово допускает, на наш взгляд, единственное прочтение, подтверждаемое и изучением остатков еще двух букв: [*а во ж[и]во[т]*]-. Впрочем, судя по прориси, не исключено также чтение [*а по ж[и]во[т]*]-. Перед нами скорее всего остаток клятвенного заверения типа *а въ животь и въ смьртъ* или *а по животь мои ...*, более чем уместного в данном контексте. Для второго варианта ср., с одной стороны, *по еѣ животь* (Сл. XI–XVII, 5, с. 103), с другой — концовку грамоты № 749: *а до можего живота пособижкъ жсмь тобѣ за твож добро*.

№ 449. Прочитанный в ДНД значительно полнее, чем в издании, этот документ в настоящее время имеет следующий вид:

(Ѡ) ----- [кѣ] --л--оу [и] ко тоуд[гъроу и]з[а]ла еста
моу] дѣлож[ѣ]ницоу оу аръш[ѣ]въ | [в]зѣала еста оу
неи :ѣ: гривнѣ : и ець : въ дѣложениц[ѣ]

Перевод в ДНД: ‘От ... к ... и к Тудору. Вы забрали мою долговую запись у Ярышевых. Вы взяли по ней 6 гривен, и еще [остается] в долговой записи’. Как отмечает А. А. Зализняк, “такое письмо могло быть, например, ответом на требование о какой-то выплате: автор указывает адресатам, что они уже получили 6 гривен с его должников и могут получить еще”. Сопоставление с грамотой № 295 позволяет понять этот текст несколько иначе. В двух адресатах грамоты, на наш взгляд, следует видеть не кредиторов автора, а действующих по его поручению сборщиков. Выражение *изъяти дѣлжницу* следует при этом понимать не буквально (по логике вещи долговая запись должна храниться не у должника, а у кредитора), а в смысле ‘взыскать по долговой записи’. Такое значение *изъяти*, хотя и не засвидетельствовано другими источниками, вполне выводимо из внутренней формы глагола. Ср. близкое значение у *выбрати/выбирати* в примерах из Сл. XI–XVII вв.: *А что в моих селех у моих ключников моего серебра на руках ... и те мои ключники то серебро из люд(и) выбрав, да отдадут моеи жене* (Дух. и дог. гр., с. 348, до 1499 г.); *Государев ясак не выбран* (Гр. Сиб. Милл. I, с. 413, 1604 г.); *А тот, государь, человекъ мой Ивашко посыланъ былъ*

... на крестьянщикахъ моихъ и на всякихъ должныхъ людехъ выбирать долги (АХУ III, с. 38, 1627 г.). Претензия автора грамоты № 449 к ее адресатам состоит в том, что они, “выбирая долг” Ярышевых, взяли только часть сумм, указанных в долговой записи.

№ 510 (кон. XII — 1 пол. XIII в.)

сь сталь бышь коузма на здылоу и на домажиро-
вица | торговала еста сьломь бьз мьнь а а за то
сьло по|роуцнь : и розвьли есть цьладь и скотинуу и
кобьль | и рожь а домажирь побьгль нь ѡкоутивь
оу ваць|слава из долгоу : како жь еста торговала
такъ жь | ----- [ис]тьрю мою :з: соть пакы жь
ли по[сл]и|(та) ... (|...)

Представляет интерес вопрос о жанре этого документа. Издатели грамоты, подробно охарактеризовав существо конфликта, обошли его стороной. А. А. Зализняк (ДНД, с. 385) допускает, что текст представляет собой “начало судебного протокола”, указывая аналогию в грамоте № 154. Последняя, однако, относится к значительно более поздней эпохе (начало XV в.), представляя собой характерный для этого времени образец судебной документации. Предполагать существование на Руси столь развитой судебной бюрократии уже в первой половине XIII в. другие источники оснований не дают (см. Франклин 1985). Свидетельство грамоты № 510 было бы в этом смысле весьма важно, но именно это заставляет отнестись к нему с особой осторожностью. Определению жанра документа как протокола противоречит, на наш взгляд, и то, что сохранившийся текст, за исключением начальной фразы, выдержан в формах второго лица. Структурно он схож с обычными берестяными письмами: за описанием ситуации следует вытекающее из него требование, после чего формулируется альтернатива на случай, если адресат откажется это требование выполнить. В данном случае альтернатива заключается в предложении послать автору нечто; в схеме эпистолярного текста ожидалось бы: “грамоту”.

Полагаем, что грамоту № 510 и следует рассматривать как письмо, а точнее — как формальное заявление Кузьмы Сдыле и Домажировичу об их неправоте. В терминах своего времени такое заявление могло называться “изветом” (см. НГБ VIII, с. 177). При таком понимании дела начальная формула с глаголом в 3-м л. находит аналогии в грамотах № 771: *Оѡимиа каже весте къ тебе* и Ст. Р. 11: *Иванаа моловила Оимь*. Переводить ее, на наш взгляд, следует: ‘Настоящим Кузьма обвиняет Сдылу и Домажировича’. Употребление плюсквамперфекта в нехарактерном для него перформативном значении может быть сопоставлено с широко

распространенным в актовой письменности использованием в том же значении аориста (древнейший пример — в находящемся при договоре 1263 г. списке договора 1191–1192 гг.: *се ... потвердохомь мира старого*; ср. также *се посьлаховь* в берестяной грамоте № 842, 1 пол. XII в.). Формульным характером такого употребления объясняется и уникальное в фонде берестяных грамот использование книжного варианта плюсквамперфекта.

№ 586 (кон. 80-х гг. XI – 1 четв. XII в., Троицк. Г)

отъ нѣжатѣ вишнѣ и вина и гароусъ
и моукоу кожоухъ иванѣ
и сковородоу

Хотя существующая трактовка грамоты как записки “о том, какие предметы надлежит получить (или, что менее вероятно, уже получены) от Нежаты” (ДНД, с. 243) не вызывает принципиальных возражений, документ допускает и альтернативную интерпретацию, на наш взгляд, более вероятную. Начальное *отъ Нѣжатѣ* наводит на мысль, что перед нами вариант адресной формулы, аналогичный представленному в грамоте № 119: *Отъ Рознѣга. Въдале есмь Гюрьгевицоу без девати коунь :ѣ: гривнѣ. Възьмѣши, въдаже прочь людѣмь*. Можно думать, что, подобно этому документу, грамота № 586 представляет собой записку самого Нежаты с просьбой прислать ему перечисленные продукты и вещи (формы род. и вин. падежа зависят от подразумеваемого ‘пришлите’).

№ 748 (2 пол. XII в.)

... | ... (въ чьс)[т]и ходити оу моего рода ци оумѣе
... (оу) [н]асъ въ чьсти ходити а нынѣ ты рекле
... (д)есати дѣва а за которъ ма [ѡ]дасть (|...)

Этот утративший верх и левую часть документ представлял собой, безусловно, одно из наиболее ярких по содержанию берестяных писем. В издании сохранившийся текст следующим образом разделен на фразы: ... (въ чьсти ходити оу моего рода ци оумѣеши ...; (оу) насъ въ чьсти ходити. А нынѣ ты рекле ...; ... (д)есати два, а за которъ ма ѡдасть, Согласно комментарию, “из последней фразы видно, что автором письма была девушка и речь идет о выдаче ее замуж. *Который* в др.-р. языке первоначально означало ‘который из двух’; вполне вероятно, что здесь это значение еще сохранено, т. е. речь идет о выборе из двух возможных женихов (связано ли с этим слово *дѣва* в предыдущей фразе, неизвестно). Девушка пишет мужчине (ср. *ты рекле*) — может быть, жениху, но, может быть, и какому-то родственнику. Начальная часть текста (до *а нынѣ ты рекле*) — это либо слова самой девушки (в

этом случае адресатом скорее всего является жених и речь идет о том, как ему оказаться в чести у новой родни), либо пересказ того, что раньше говорил адресат (ср. *a нынѣ ты рекле*; в этом случае сказанное относится к невесте)” (ДНД, с. 311).

Общую схему содержания грамоты можно попытаться восстановить более точно. Длина утраченной левой части документа была, судя по характеру лакун, сопоставима с длиной сохранившейся правой. В разрыве между концом второй и началом третьей строки должны были читаться цитируемые слова адресата-мужчины и начало ответа на них девушки. С другой стороны, словами *ци умѣ(ши)* скорее всего начиналась новая фраза, а не заканчивалась предыдущая: древнерусское *ци* в подавляющем большинстве контекстов выступает именно в начальной позиции. При этом фрагменты *умѣ(ши)* и *(оу) насъ въ чѣсти ходити* не могли непосредственно стыковаться: не говоря о странности получаемого смысла, предполагать это не позволяет размер лакуны; в этой лакуне, следовательно, пропали две глагольные словоформы: управляемый *умѣ(ши)* инфинитив и личная форма, управляющая инфинитивом *ходити*. Вероятная синтаксическая структура этой части грамоты была, таким образом, следующей: ... (*въ чѣсти ходити оу моего рода. Ци оумѣ(ши) ..., (почьнешь?) (оу) насъ въ чѣсти ходити*). Альтернатива: считать ли эту часть текста словами самой девушки или пересказом слов адресата? — оказывается при таком членении снятой: слова адресата пересказывались в первой фразе, тогда как вторая, оформленная как сложноподчиненное предложение с придаточным условия, представляет собой слова девушки.

Структура первой части грамоты оказывается при таком понимании аналогична структуре ее второй части, в которой также выделяются слова адресата и ответ на них автора. Слова *a нынѣ ты рекле* можно по аналогии с *a нынѣ слышу* в грамоте № 705 (см. § 24) трактовать как формулу следования по тексту письма, ответом на которое является настоящая грамота. Функционально обе формулы соответствуют современному “а еще ты пишешь...”, различаясь лишь коммуникативной перспективой.

Можно думать, таким образом, что грамота представляла собой ответ девушки на письмо жениха (точнее, одного из женихов), в котором тот высказывал желание быть в чести у новой родни и осведомлялся о собственных шансах. Ответ девушки мог выглядеть примерно так: ‘Ты пишешь [букв. сказал], что хочешь в чести быть у моего рода. Если умеешь [что-то вроде: правильно себя вести?], то будешь у нас в чести ходить. А еще ты сказал: ...’. Спрашивалось что-то насчет женихов, на что

девушка отвечает: осталось (?) из десяти два, за кого ее отдаст (отец, за того она и пойдет?).

№ 831. Содержательная часть грамоты коммуникативно неоднородна, складываясь из основного текста, обращенного к титульному адресату — Рагуилу, и заключительного обращения к Степану с просьбой переписать этот текст на пергамен и отослать его. Из последнего следует, что “перед нами лишь черновик послания Кузьмы к Рагуилу. Этот черновик был послан Степану с тем, чтобы тот переписал его на пергамен и лишь после этого отправил Рагуилу”. Этот вывод хотелось бы как-то согласовать с принадлежностью грамоты к комплексу документов, связанных с деятельностью судебно-административного центра, располагавшегося в середине XII в. на усадьбе Е Троицкого раскопа. Содержание письма позволяет считать, что оно было адресовано Кузьмой Рагуилу как представителю этого органа. Иначе говоря, письмо найдено именно там, где располагалась властная инстанция, к которой оно обращено. С ее деятельностью, следовательно, связан и Степан, в котором можно видеть секретаря этой инстанции, ведавшего всей поступающей в нее корреспонденцией. В функции такого секретаря должна была входить и пересылка писем начальству, туда, где оно в данный момент находилось. От него же, очевидно, зависело и то, в какой форме эти письма будут доведены до сведения властей. Грамота № 831 может в таком случае рассматриваться не столько как черновик, сколько как образец “входящей корреспонденции”, подлежащей соответствующей бюрократической обработке в виде переписки на пергамен.

Основной текст письма распадается на две части. Первая, заканчивающаяся словами *бласлови та бого*, содержит перечисление того, что автор передал Рагуилу, сделал для него и уступил ему. Во второй части, также заканчивающейся благословением, автор отводит от себя несправедливое, по его мнению, обвинение, возведенное на него и его детей Рагуилом, и дает соответствующие разъяснения. К сожалению, большие лакуны в двух последних строках на внутренней стороне берестяного листа и практически полная утрата двух первых строк на внешней стороне препятствуют связанной реконструкции содержания второй, наиболее драматической части грамоты. Тем не менее попытку такой реконструкции можно предпринять, основываясь на несколько ином, по сравнению с предварительной публикацией, прочтении сохранившихся фрагментов. Для удобства еще раз воспроизведем текст этой части грамоты по первой публикации:

Внутренняя сторона

а сѣ на ма чѣто въздираѣши и на мое дѣти кто ли на ма тажоу дѣ
ет[ъ] ----- [та бѣ] пострѣчьть оужь на ма и на мое дѣти а во то еси
-----[и] дова отрока а а сѣ дѣтьми то къ-----
-- [к]оуно дош[ъ]-[ъ] писк-(-)[и]оу во дворо -----т[ъ]к...

Внешняя сторона

...
... отъ по...
боудѣть да то тоу боудоу ото нѣхѣ посадь[ник]о(у) [с]о[пи]...
ото вѣсьхѣ шьсть а ни а тебе кобажанино ни а то[бѣ] скоу[дѣ]тина
а и горъзно ми [бѣ]шь тоу---- тѣгда да надо вѣ
сѣмь та благословило

Заполнение первой и второй лакун в общих чертах не вызывает затруднений. Перед *та бѣ* должен был находиться глагол типа *избави* (*съхрани*, *сънаси*), а после *еси* — *посълалъ* (*насълалъ*, *приставилъ*) на *ма*. При этом, однако, в обоих случаях остается место для еще одной синтаксической позиции. Представляется, что эта позиция может быть с высокой степенью надежности заполнена, причем одинаковым для обеих лакун образом. Заметим, что, в отличие от первой части грамоты, где автор говорит только от своего лица, во второй части (во всяком случае, в начале ее) он трижды, говоря о себе, упоминает и своих детей. Это упоминание явно не носит характера эмоционального аргумента, но связано с существом дела, которое в этой части послания касается именно детей Рагуила, являющихся, вместе с отцом, и титульными авторами грамоты в целом. Двукратное повторение сочетания на *ма* и на *мое дѣти* позволяет считать, что мы имеем дело с последовательно проведенным принципом, и предполагать действие этого принципа также на поврежденных участках текста. Было бы даже странно, если бы автор, упомянув своих детей, давая оценку действиям Рагуила и предполагаемого тяжбщика, не сделал этого при упоминании самой тяжбы, направленной против него и его детей.

Подстановка в первую лауну *и на мое дѣти* оставляет для императива всего около четырех-пяти букв — столько, сколько насчитывает сокращенная запись *сѣси* или *оуѣси*. Во втором случае достоверность реконструкции подтверждается не только подсчетом букв (*приставилъ* на *ма* и на *мое дѣт* — 23, что в точности соответствует предварительной оценке длины лакуны), но и сохранившимся и перед *дова отрока*. Таким образом, весь начальный пассаж может быть предположительно восстановлен в следующем виде: *А се на ма чѣто въздираѣши и на моѣ дѣти? Кѣто ли на ма тажоу дѣтеь (и на моѣ дѣти, — оуѣси) та бѣ!* — по-

*стрѣчьть оужь на ма и на моѣ дѣти. А во то еси (насълалъ на ма и на моѣ дѣт)и дѣва отрока 'А вот зачем ты придираешься ко мне и к моим детям? Если кто-то заводит тяжбу против меня и моих детей, — упаси тебя Бог! — это он уже подстрекает [тебя] против меня и моих детей. А ты и из-за этого насрал на меня и на моих детей двух отроков'. То, что автор не прибегает к местоимению *мы*, но каждый раз полностью выписывает "я и мои дети", очень показательно. Тавтологичность такого способа выражения и его коммуникативная избыточность объясняются характером текста, представляющего собой официальное обращение в административную инстанцию. В этом отношении письмо Кузьмы предвосхищает актовую стилистику более позднего времени с характерным для нее многократным повторением имен и титулов.*

Для понимания дальнейшего хода мысли автора ключевое значение имеет фрагмент *дош[ъ]-[ъ] писк-(-)[и]оу во дворо*. Реконструируя глагольную словоформу как *дошьдѣ* или *дошьдѣль*, можно было бы думать, что речь здесь шла о походе автора к епископу. Однако глагол *доити* имеет регулярное управление род. падежом и в сочетании с предложным аккузативом источниками не засвидетельствован. Представляется поэтому, что отрезок *дош[ъ]-[ъ]* следует (принимая во внимание наличие в грамоте эффекта $\dot{\text{ь}} = \text{о}$) трактовать как словоформу ср. ед. *дошьдѣло*, относящуюся не к автору, а к деньгам, поступившим ("дошедшим") в епископскую казну ("к епископу во двор"). Хотя в точности такое употребление глагола *доити* ранним памятникам не известно, именно оно составляет внутреннюю форму слова *доходѣ*. Ср. также следующий контекст из Устава Святослава Ольговича 1136 г. (по списку XIV в. в добавлении к Новгородской Кормчей 1282 г.): *имати пискѣпомѣ десатиноу ѿ даниі и ѿ вирь и продажь, что входитъ въ княжь дворъ всего*.

Такое прочтение данного фрагмента позволяет реконструировать следующий ход рассуждений ав-

тора в этой части письма. Заявив о необоснованности обвинения, из-за которого Рагуил наслал на него и его детей двух отроков, Кузьма начинает оправдываться и приводить доказательства своей невиновности. Фраза, начинающаяся словами *а а съ дѣтьми то къ...* и заканчивающаяся словом *коуно* (в лакуне между ними пропало около 12 букв), могла иметь смысл: ‘А я с детьми разве кому-то недоплатил денег?’ Упоминание далее сумм, поступивших в епископскую казну, связано, по-видимому, с тем, что эти суммы представляют собой десятину, факт поступления которой во владычный двор является доказательством честности автора и его детей.

Осмысление общей структуры текста на внешней стороне листа зависит от понимания фразы *да то тоу боудоу ото нхо посадь[ник]о(у) [с]о[ни]... ото весьхо шьсть*. Очевидно, что речь идет о неких выплатах посаднику. Глагольная форма, сочетавшаяся с *боудоу*, могла быть лишь совершенным причастием (сочетание *буду* с инфинитивом появилось в русском языке несколькими столетиями позже). Теоретически это могло быть слово, начинающееся с *сопи-*, однако *списалъ* к контексту не подходит, а других семантически приемлемых вариантов не видно. Остается предположить, что причастие (*вѣдалъ, заплатилъ?*) пропало в лакуне, и, следовательно, отрезок *сопи...* не является частью глагольной словоформы. В поисках подходящей конъектуры вспомним, что выше в тексте упоминались деньги, поступившие “пискупу во двор”, в которых, как уже было сказано, возможно видеть церковную десятину с какого-то платежа, адресат которого нам неизвестен. Это дает нам право предположить, что в данном месте речь шла о выплатах, адресованных *посадыникоу со ни(скоупомь)*. Можно понять также, от чьего лица делались эти выплаты. По всей вероятности, и здесь Кузьма говорит о себе и своих детях. “От них от всех” им и было заплачено посаднику с епископом “шесть” (гривен? кун?).

Поскольку об этом платеже автор упоминает в предположительном наклонении, фраза может быть лишь частью более крупного синтаксического целого. Однако непосредственно продолжающее ее эмоциональное утверждение (*а ни а тобе кобляжанино, ни а то[бѣ] скоу[дѣ]тина*) еще не дополняет ее до этого целого. Таким дополнением это предложение становится лишь в сочетании со следующей фразой: *а и горьзно ми [бѣ]шь тоуз (жьно) тьгда* (с конъектурой *тоужьно*, предложенной А. А. Зализняком). Смысл этого сочета-

ния представляется нам следующим. Предполагая, что поводом для нападков на него Рагуила могло послужить то, что он от всех своих детей заплатил посаднику с епископом всего шесть гривен или кун, автор оправдывается: это не оттого, что он “кобляжанин” или бедняк (“скудытина”), а просто тогда (т. е. в момент платежа) он находился в очень стесненных материальных обстоятельствах.

Можно понять и смысл упоминания в этом контексте загадочного кобляжанина. Это слово, по-видимому, выступает здесь как экспрессивное обозначение скупца, синоним скряги, скупердяя. Таким же экспрессивным синонимом для бедняка, нищего является “скудытина”.

Остается понять, как была сформулирована возможная причина обвинения. Фразу, начинающуюся с *да то тоу боудоу*, можно было бы трактовать как придаточное условия, но предполагаемый таким образом смысл (‘если окажется, что я заплатил...’) кажется несколько натянутым. С другой стороны, контексты, в которых бы союз *да то* выступал с условным значением, как кажется, неизвестны. Альтернатива состоит в том, что значение условия выражала не эта фраза, а предыдущая, по отношению к которой данное предложение является придаточным изъяснительным. Эта фраза, заканчивавшаяся словом *боудеть*, могла означать примерно следующее: ‘Если кто-то тебе про меня и про моих детей сказал...’; при этом глагол, как и в следующей фразе, раскрывающей содержание этого гипотетического высказывания, стоял в предположительном наклонении (например, *реклъ будеть*). Изъяснительное значение *да то* представлено, по-видимому, в следующем контексте из Поучения Владимира Мономаха: *ли того са каю, да то языкомъ бра҃ти пожаловахъ* ‘или я раскаиваюсь в том, что язычникам братию предал (?) ...’. Ср. также другой пример из Повести временных лет, в котором этот союз используется при цитировании в значении, близком совр. *дескать*, хорошо подходящем и к нашему контексту: *и бѣ оу Юрoслава кормилецъ и воевода именовъ Буди, нача укарати Болеслава глагола, да то ти прободемъ трѣскою черево твое тольстое* (Лавр., 1019 г., л. 48 об.).

Все сказанное позволяет предложить для текста на внешней стороне листа следующий перевод (с конъектурами и реконструированным началом): ‘А если (кто про меня и моих детей тебе сказал), дескать я от них от всех заплатил посаднику с епископом [только] шесть [гривен?], — так [дело не в том, что] я “кобляжанин” или беднота, — а уж больно было мне тогда туго’.

№ 904. В предварительной публикации грамота получила следующий перевод (с коньектурами для утраченных окончаний первой и второй строки): 'От Тютки к Нежате. Даю (*или*: дал) Коснятину шесть гривен, а ты дай [столько-то] Дрочену (?)'. Придерживаясь такой реконструкции, бытовую ситуацию грамоты можно понимать двояко. С одной стороны, Коснятин может быть лицом, которому Тютка заплатил или передал шесть гривен, о чем он информирует Нежату; в таком случае речь в грамоте идет о взаимном денежном расчете между четырьмя лицами. Другая возможность состоит в том, что Коснятин — курьер, с которым автор посылает шесть гривен Нежате, подписывая последнему передавать эту сумму (или часть ее) Дрочену. Однако этой альтернативой проблемы, связанные с истолкованием документа, не исчерпываются.

Глагольная словоформа в первой строке, от которой сохранились буквы *д[а]...*, может быть не только 1-м л. презенса, аориста или перфекта, но также императивом *даи*. На первый взгляд, такая ее трактовка представляется невозможной из-за следующего *а ты д(аи)*, казалось бы, предполагающего противопоставление обозначаемого этим императивом действия адресата действию автора (такое *а ты* представлено, например, в грамоте № 109: *а се ти хочу: коне коупивъ и кьнажъ моужь въсидивъ та на съводы. А ты, атче еси не възаль коунъ техъ, а не емли ничьто же оу него*). Однако, как было показано выше (§ 13), *а ты* в берестяных письмах может выполнять и другую функцию, маркируя смену адресата в коммуникативно неоднородном сообщении. Ср. в первую очередь № 177: *даи ключи Фоми. А ты пошди Григорию Онефимова*, где *а ты* вводит обращение к только что упомянутому Фоме. Следовательно, первая фраза грамоты № 904 вполне могла иметь вид: *даи Кьснатиноу :з: гривнь* и продолжаться инструкцией самому Коснятину как курьеру: *а ты даи [столько-то] Дроценюви*. Ситуация грамоты в таком случае предстает следующей. Посланный Тюткой Коснятин должен был явиться с грамотой к Нежате и, получив у него 6 гривен, направиться к Дрочену, чтобы часть полученного от Нежаты передать ему.

Дополнительную сложность в интерпретацию этого текста вносит следующее обстоятельство. При внимательном изучении начертаний букв в грамоте оказывается, что палеографически она четко распадается на две части, граница между которыми проходит после слова *гривнь*, то есть совпадает с границей фраз. Из девяти допускающих сопоставление букв до и после этого рубежа различаются начертания шести (А, В, Н, Р, Т, Ы). Буква А в первой части имеет специфическое начертание с

удлиненной спинкой (см. Зализняк, Палеография, табл. 1, 152), тогда как во второй она представлена своим основным видом. Нижняя петля у В и петля у Ъ имеют вид треугольников, тогда как в первой части черта, соединяющая мачту и основание этих букв, имеет вид дуги. У букв Н, Т, Ъ (в составе ЪІ) во второй части имеются засечки (у Н — верхние, у Т также снизу); в первой части засечки отсутствуют. Буква Р во второй части имеет длинную изогнутую спинку и узкую, не смыкающуюся с мачтой внизу петлю; в первой части спинка у Р прямая, а петля по форме близка к полукругу. См. прорись грамоты на с. 96.

Названных отличий, на наш взгляд, достаточно, чтобы уверенно утверждать: вторая часть грамоты написана другим почерком.

Тот факт, что первоначально содержательная часть грамоты состояла только из одной фразы, является сильным аргументом в пользу реконструкции глагольной словоформы в этой фразе как *даи*: подавляющее большинство грамот такой длины содержит императив. Таким образом, исходный вид текста был: *Ѡ Тюткы къ Нѣжатѣ. Даи Кьснатиноу :з: гривнь*. Затем другой рукой было добавлено: *А ты даи (-) Дроценюви*.

Кем было сделано и кому адресовано это добавление? Считая автором второй фразы Тютку (что предполагается последней из вышеуказанных трактовок), непросто объяснить, почему она написана другим почерком. В принципе, изложенные в этой работе соображения дают такую возможность: нужно предположить, что первая часть грамоты написана автором собственноручно, а вторая — посылным под диктовку автора, или наоборот, что первую часть записывал посылный, а добавление сделал сам автор. Однако такое разделение труда все равно кажется несколько странным.

Вероятнее поэтому, что второй почерк грамоты принадлежит адресату ее первой части — Нежате. В таком случае рассматриваемый документ пополняет собой круг "писем с ответами", уже имеющих в фонде берестяных грамот (это грамоты № 736 и Ст. Р. 35). В ответ на просьбу Тютки передать шесть гривен Коснятину Нежата обращается к нему с встречным предложением передать какую-то сумму Дрочену. Заметим, что осуществляемый таким образом взаиморасчет зеркально симметричен тому, который предполагается приведенным выше переводом.

Смол. 12. Несмотря на утрату правого края, документ, на наш взгляд, может быть реконструирован более полно, чем это сделано в ДНД. *Выправи* может означать не только 'добудь', но и 'исполни'.

Дьбр- в таком случае — начало вежливой формулы *добрѣ сътвори*. Далее было сказано, что именно нужно было исполнить, видимо, речь шла о некоем обещании автора Ярине. Поскольку *-къ* в начале четвертой строки может быть, как указывает А. А. Зализняк, только окончанием словоформы типа (*Смольньскѣ*, *ати* в конце третьей строки вряд ли может быть инфинитивом (это плохо подходит к контексту). Дающее идеальный смысл *а я ти (N-скѣ)* ‘а я (нахожусь) в N-ске’ также приходится отвергнуть, поскольку перед *ти* в берестяных грамотах представлено только *язь* (ДНД, с. 113). И все же кажется весьма вероятным, что фраза действительно сообщала о пребывании автора в N-ске и содержала местоимение *я*. С *ти* в таком случае могла начинаться только глагольная словоформа со значением ‘нахожусь’, и такая словоформа имеется. Вероятной конъектурой для этого места представляется: *а я ти(ро)ую N-скѣ*. Глагол *тировати* встречается в древнерусских текстах, обозначая временное пребывание (см. в первую очередь грамоту Пскова Риге начала XIV в. [ГВНП, № 332]: *здѣ тиrowаль Нездильце вашь...*). К контексту это значение

подходит идеально, так как из следующей фразы ясно, что положение автора в том месте, откуда написана грамота, еще не вполне устойчиво. Наиболее вероятное заполнение лакуны в конце четвертой строки — (*а присълоу ти (такою же весть)*), где *такою же* восстанавливается, из соображений длины строки, по аналогии с № 736. Из обсуждаемых А. А. Зализняком вариантов восстановления одной утраченной буквы в *пъ-ъне* — *пъ(м)ъне*, *пъ(к)ъне*, *пъ(л)ъне* — наиболее вероятен первый, однако не в предлагаемом значении ‘по мне’ (= ‘в соответствии с моим желанием’, ‘по моему вкусу’), а в значении ‘(вслед) за мной’, ср. в Твер. 2: *а азо по тебе буду само*. С такими конъектурами (дающими строки приблизительно одинаковой длины) текст на внешней стороне грамоты может быть переведен так: ‘От Ивана к Русиле. Выполни, пожалуйста, мое обещание (?) Ярине. Возьми гривну у Конозюя Нежатича (*или*: брата, внука Нежаты). Если же он не даст, то займи в треть. А я остановился в N-ске. Если у меня [всѣ] будет хорошо, то пришлю тебе об этом известие. Если хочешь последовать за мной, то пришли ко мне человека ...’

Корректирующее добавление к § 27

Ст. Р. 35 (см. публикацию в настоящем томе). Этот документ был использован выше при разборе грамоты № 904 как пример “грамоты с ответом”. Такая его трактовка была предложена вскоре после находки грамоты, когда обнаружилось, что вторая строка, своим содержанием разительно контрастирующая с первой, написана другим почерком. Фраза *Акове брате, еби лежа, ебехото, аесово* была понята тогда как резкий ответ адресата первой части грамоты, Хотеслава, на предложение брата Радослава взять у прасола (торговца) две гривны и пять кун. При этом оставалось гадать, что в этом вполне обычном указании спровоцировало адресата на столь бурную и необычную по форме реакцию.

В настоящее время появилась возможность несколько иначе и, как кажется, более адекватно интерпретировать коммуникативную организацию этого в высшей степени экстравагантного текста. Ее открывают наблюдения С. Франклина (2002, с. 42–45) над типологически близкими берестяным грамотам британскими деревянными табличками римского времени, в большом количестве обнаруженными при раскопках пограничной крепости Виндоланды.

Как указывает С. Франклин, текст типичной виндоландской таблички распадается на две части, написанные разными подчерками: первая содер-

жит основное сообщение, вторая — заключительные приветствия. Последние, очевидно, приписывались автором собственноручно, тогда как основной текст послания записывался писцом.

В свете данного наблюдения структуру грамоты Ст. Р. 35 естественно понимать следующим образом. Ее последняя фраза представляет собой не язвительный ответ Хотеслава на показавшееся ему неуместным предложение Радослава, а автограф самого Радослава, шуточное приветствие, добавленное его рукой к написанной писцом (по всей вероятности, кем-то из подручных) деловой записке и сделанное в понятной между братьями грубовато-площадной манере.⁸ Контраст этого “братского привета” с приводимой С. Франклином припиской, которую некто Клавдия Севера сделала в письме к жене префекта девятой когорты Флавия Цереала Сульпиции Лепидине (в англ. переводе: “Farewell, sister, my dearest soul, as I hope to prosper, and hail”), только оттеняет функциональную близость двух текстов.

⁸ В пользу такой трактовки косвенно свидетельствует и форма берестяного листа, представляющего собой длинную полосу, несколько сужающуюся к правому краю. Естественной такая форма выглядит при предположении, что к моменту обрезки листа не доходящая до правого края вторая строка уже была написана.

Разумеется, и при таком прочтении вторая строка грамоты остается “ярким свидетельством высокой изобретательности древнерусского человека в сфере небанальных ругательств” (ДНД₂, с. 335). Более того, в обращении к Хотеславу (а не к Радославу, что предполагалось первоначальной трактовкой) замысловатое сочетание эпитетов *ебехота* и *аесова*, которые Радослав присовокупил к христианскому (!) имени брата, выглядит особенно изощренным: вряд ли случайно, что входящие в эти композиты корни *хот-* и *сов-*, первый полностью, а второй в начальной и конечной согласных, совпадают с двумя корнями неназванного здесь, но выступающего в адресной формуле имени *Хотеславъ*. Похоже, что мы имеем дело с известным древнерусской смеховой культуре комическим обыгрыванием имен собственных, в духе скоморошин Даниила Заточника: *кому Боголюбово, а мне горе лютое*, и т. п.

Реинтерпретация коммуникативной структуры грамоты Ст. Р. 35 заставляет еще раз вернуться к грамоте № 904, написанной также двумя почерками. Из возможных объяснений этого обстоятельства мы выше отдали предпочтение версии, согласно которой фраза *А ты даи ... Дроценови* представляет собой ответ адресата первой части грамоты, Нежаты, на полученное им письмо, написанный на том же листе бересты. При этом мы опирались в первую очередь на грамоту Ст. Р. 35 (еще одна “грамота с ответом” — № 736 — существенно отличается по своему характеру: ответное письмо здесь оформлено как самостоятельный текст, по

всем правилам эпистолярного этикета). Без этой поддержки данная версия становится крайне уязвимой и, видимо, должна быть оставлена. Альтернатива ей, напомним, заключается в том, что фраза, начинающаяся с *А ты ...*, — это предписание посланцу Коснятину передать часть полученной от Нежаты суммы Дрочену. Почему эта фраза написана новым почерком, сложно сказать. Не исключено, что обращение к Нежате было написано под диктовку автора Коснятином, а поручение Коснятину записал сам автор. Так или иначе, факт участия двух лиц в написании грамоты находится в нетривиальной корреляции с ее коммуникативной неоднородностью.

Из грамоты Ст. Р. 35 можно извлечь и более общий урок. Если бы не обшечный автограф Радослава, мы никогда бы не догадались, что основной текст грамоты записан не ее автором собственноручно, а писцом. Это еще раз показывает, что в переписке на бересте разделение функций “автора” и “пишущего” было распространено значительно шире, чем можно предполагать, исходя из неформального характера этой переписки. Причем — как замечает С. Франклин относительно виндоландских табличек — обращение к услугам “писца” совсем не обязательно объяснялось неграмотностью автора. Дело, по-видимому, в том, что в раннеписьменном обществе, каким была и домонгольская Русь, письмо под диктовку в принципе рассматривалось как наиболее естественный и простой способ создания эпистолярного текста.

Заключение

§ 28. Исследование берестяных грамот в коммуникативном и прагматическом аспектах, опыт которого был предложен в настоящей работе, представляется закономерным этапом в продолжающемся уже более полувека изучении этого источника. Открытие берестяных грамот в 1951 г., позволившее впервые заглянуть в мир повседневных забот древнерусского человека, сопровождалось “эффектом узнавания” этого мира, ощущением близости и понятности его проблем, ситуаций и языка. Дальнейший прогресс в изучении берестяной письменности был во многом связан с преодолением этого начального впечатления, распознаванием неизвестного и специфичного за кажущимся очевидным. Фундаментальную роль в этом процессе сыграло открытие факта использования в берестяных грамотах особых “бытовых” графико-ор-

фографических систем, расчистившее путь к массовому уточнению чтений и установлению основных особенностей древненовгородского диалекта.

В настоящее время, когда черты бытовой графики и древненовгородского диалекта, выявленные и систематизированные А. А. Зализняком, составляют уже “азбуку” новгородистики, а подавляющее большинство берестяных документов удовлетворительным образом прочитано и переведено, необходимым и возможным является обращение к более высоким уровням организации текста для выяснения специфики самой системы письменной коммуникации, осуществлявшейся при помощи берестяных грамот.

Коммуникативно-прагматический подход предполагает рассмотрение текста погруженным в действительность, которую он отражает, в связи с сто-

ящей за ним бытовой (жизненной) и коммуникативной ситуацией. По отношению к первой текст выполняет определенную прагматическую функцию, являясь инструментом социального взаимодействия; в рамках второй он выступает как звено механизма коммуникации, связывающего между собой участников речевого акта. Коммуникативная ситуация опосредует представление в тексте соответствующей бытовой ситуации; ее правильная оценка является таким же неперемным условием адекватного истолкования текста, каким для его правильного прочтения и лингвистической интерпретации является понимание графической системы, в которой текст записан.

Как мы старались показать, характеристика большинства берестяных грамот как (частных) писем, опирающаяся на факт наличия у них адресных формул, является справедливой лишь в первом приближении. В действительности “адресная” структура скрывает за собой значительное разнообразие коммуникативных ситуаций, подчас весьма специфичных и, с современной точки зрения, “нестандартных”. Отправляясь от взятой за эталон коммуникативной ситуации современного частного письма, мы попытались охарактеризовать некоторые из специфических черт коммуникативной организации берестяной переписки.

Наиболее яркой из них является свойство коммуникативной неоднородности, присущее многим берестяным грамотам и заключающееся в несовпадении ролевых структур отдельных частей берестяного письма. Данное свойство может выступать как в явной, так и в скрытой форме, при которой момент переключения на нового адресата никак специально не маркируется в тексте. Коммуникативно неоднородные тексты могут быть также подразделяемы в зависимости от того, как соотносятся между собой фрагменты, имеющие разных адресатов. В простейшем случае они представляют собой независимые друг от друга сообщения. Чаще, однако, адресатами коммуникативно неоднородного письма становятся лица, связанные между собой некоторым двусторонним отношением. Обращенные к ним инструкции регулируют поведение этих лиц в отношении друг друга. Устроенный таким образом текст функционирует, по существу, как документ (“мандат”), удостоверяющий полномочия одного из контрагентов в глазах другого. Еще один случай коммуникативной неоднородности со-

ставляют грамоты, в составе которых выделяется основное сообщение и метатекст — инструкция по обращению с ним; адресатом такой инструкции может быть писец или, чаще, посыльный, доставляющий грамоту ее основному адресату.

Статус посылного сам по себе является важным признаком, противопоставляющим коммуникативные ситуации берестяных грамот. От того, выполняет ли посыльный чисто “почтовые” функции или сам упоминается в грамоте в том или ином качестве, зависит и общее понимание отраженной грамотой бытовой ситуации. Целый ряд грамот могут быть трактованы как представляющие собой обращения к посыльным — исполнителям содержащихся в них поручений, написанные в их присутствии и рассчитанные на предъявление упоминаемым в этих грамотах лицам. И в этом случае текст, оформленный как письмо, обладает прагматикой документа.

В силу этих особенностей коммуникативной организации соотношение между ролевой структурой берестяного текста и его прагматической направленностью оказывается далеко не однозначным. Тексты одинаковой ролевой структуры могут выполнять различные функции, и напротив, одну и ту же прагматическую нагрузку могут иметь тексты, в ролевом отношении оформленные по-разному. Отсутствие строгой корреляции между структурой текста и его функцией, так же как и жестких границ между формальным и неформальным, восходит к эпохе, когда письменная коммуникация еще не сложилась в автономную систему и существовала как факультативное дополнение к устной, неся на себе ярко выраженный отпечаток этой последней. Важнейшими из форм проявления устного фактора в берестяных грамотах являются: 1) отражение письменным текстом структуры устного диалогического общения с характерной для него опорой на ситуативный контекст (чем объясняется, в частности, феномен скрытой коммуникативной неоднородности); 2) существование особой категории берестяных грамот, представляющих собой письменные авторские “знаки”, передаваемые с устными сообщениями (гипотеза Д. М. Буланина); 3) осмысление акта письменной коммуникации в терминах взаимодействия говорящего и слушающего, частично отражающее реальную практику записи текстов под диктовку и прочтения их адресатам вслух.

Указатель грамот

Курсивом набраны номера параграфов, в которых предлагаются уточненные прочтения и интерпретации грамот; прямым шрифтом — параграфов, в которых грамоты просто упоминаются. Запись 27~295 означает, что грамота комментируется в Приложении (§ 27) вместе с грамотой № 295.

27 — 27	227 — 17	443 — 20	731 — 5
67 — 5	231 — 24	449 — 27	735 — 17
78 — 18	241 — 17	463 — 5	739 — 17, 25
79 — 18	243 — 26	509 — 11, 18	745 — 26
84 — 18	253 — 7, 13	510 — 27	748 — 27
87 — 5	259/265 — 27	550 — 25	750 — 23
103 — 27	260 — 26	586 — 27	776 — 21, 27
112 — 27	275/266 — 26	589 — 23	818 — 25, 27~295
134 — 5	289 — 5	605 — 25	821 — 26
136 — 15	295 — 27	610 — 25	831 — 7, 27
144 — 18	331 — 27	622 — 6	879 — 22
153 — 18	346 — 27	640 — 11	904 — 27
156 — 27	354 — 8	644 — 6	Ст. Р. 11 — 24, 26
177 — 13	358 — 7, 8	656 — 21	Ст. Р. 15 — 10, 17
186 — 27	370 — 5	690 — 5, 18	Ст. Р. 35 — 27
187 — 6	377 — 27	697 — 9	Смол. 12 — 16, 17
195 — 25	397 — 20	705 — 24, 27~295	Торж. 10 — 17
206 — 27	406 — 15, 17	719 — 27~295	Звен. 2 — 17, 25
207 — 27	420 — 12	723 — 17	
219 — 6, 18	422 — 24	725 — 6	

ЛИТЕРАТУРА

- Англ. — Памятники дипломатических сношений Московского государства с Англиею. Т. II (с 1581 по 1604 г.) // Сб. Русского Исторического Общества. Т. 38. СПб., 1883.
- Бирнбаум 1991 — *H. Birnbaum*. Orality, Literacy, and Literature in Old Rus' // *H. Birnbaum*. Aspects of Slavic Middle Ages and Slavic Renaissance Culture. New York, Bern, Frankfurt, Paris, 1991. P. 131–180.
- Буланин 1997 — *D. Bulanin*. Der literarische Status der Novgoroder "Birkenrinden-Urkunden" // *Zeitschrift für Slavistik* 42 (1997). S. 146–167.
- Ворт 1984 — *D. Worth*. Incipits in the Novgorod birchbark letters // *Semiosis: Semiotics and the History of Culture* (In Honorem Georgii Lotman). University of Michigan, 1984.
- Высоцкий 1966 — *С. А. Высоцкий*. Древнерусские надписи Софии Киевской XI–XIV вв. Вып. 1. Киев, 1966.
- Гиппиус 1991 — *А. А. Гиппиус*. "Ида на суд..." (Комментарий к берестяной грамоте № 2 из Звенигорода Галицкого) // Семиотика культуры. III Всесоюзная школа-семинар 15–20 сентября 1991 г. Тезисы докладов. Сыктывкар, 1991. С. 3–5.
- ГВНП — Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.–Л., 1949.
- ДКУ — Древнерусские княжеские уставы XI–XIV вв. М., 1976.
- ДНД — *А. А. Зализняк*. Древненовгородский диалект. М., 1995.
- ДНД₂ — *А. А. Зализняк*. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М., 2004.
- Зализняк 1987 — *А. А. Зализняк*. Текстовая структура древнерусских писем на бересте // Исследования по структуре текста. М., 1987. С. 147–181.
- Зализняк 1999 — *А. А. Зализняк*. Проблема тождества и сходства почерков в берестяных грамотах // Великий Новгород в истории средневековой Европы. К 70-летию Валентина Лаврентьевича Янина. М., 1999.
- Зеemann 1983 — *K.-D. Seemann*. Die "Diglossie" und die Systeme der sprachlichen Kommunikation im alten Rußland // *Slavistische Studien zum IX. Internationalen Slavistenkongress in Kiev 1983*. Köln–Wien, 1983 (Slavistische Forschungen, 40).
- Ипат. — Полное собрание русских летописей. Том второй. Ипатьевская летопись. М., 1962.
- Клэнчи 1979 — *M. Clanchy*. From Memory to Written Record. England 1066–1307. London, 1979.
- Ковалев 2002 — *Р. Ковалев*. Новгородские деревянные бирки: общие наблюдения // *Российская археология*. 2002, № 1. С. 38–50.
- Крысько 2001 — *В. Б. Крысько*. *Miscellanea palaeorossica // Papers in Slavic, Baltic and Balcan studies*. Helsinki, 2001. P. 101–113. (Slavica Helsingiensia, 21.)
- Лавр. — Полное собрание русских летописей. Том первый. Лаврентьевская летопись. М., 1962.

- Лихачев 1986 — Д. С. Лихачев. Русский посольский обычай XI–XIII вв. // Д. С. Лихачев. Исследования по древнерусской литературе. М., 1986. С. 140–153.
- Медынцева 1978 — А. А. Медынцева. Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора. М., 1978.
- НГБ VII — А. В. Арциховский, В. Л. Янин. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962–1976 гг.). М., 1978.
- НГБ VIII — В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986.
- НГБ IX — В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.
- НГБ X — В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990–1996 гг.). М., 2000.
- НК — Полное собрание русских летописей. Том сорок второй. Новгородская карамзинская летопись. СПб., 2002.
- НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.–Л., 1950.
- Оппенгейм 1990 — Л. Оппенгейм. Древняя Месопотамия. М., 1990.
- Падучева 1996 — Е. В. Падучева. Семантические исследования. М., 1996.
- Потебня 1958 — А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике. Т. I–II. М., 1958.
- ПР — Правда Русская. Т. 1. М., 1940.
- СК XIV — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ и Балтии. XIV век. Вып. 1. М., 2002.
- Смирнова, Лаурина, Гордиенко 1982 — Э. С. Смирнова, В. К. Лаурина, Э. А. Гордиенко. Живопись Великого Новгорода. XV век. М., 1982.
- Столярова 2000 — Л. В. Столярова. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергаменных кодексов XI–XIV веков. М., 2000.
- Страхов 1999 — А. Б. Страхов. Филологические наблюдения над берестяными грамотами: XV–XVIII // *Palaeoslavica* VII (1999). P. 297–306.
- Факкани 2003 — Р. Факкани. Некоторые размышления об истоках древненовгородской письменности // Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения. Материалы международной конференции. Великий Новгород, 24–27 сентября 2001 г. М., 2003. С. 224–234.
- Франклин 1985 — S. Franklin. Literacy and Documentation in Early Medieval Russia // *Speculum* 40 (1985). P. 1–38.
- Франклин 2002 — S. Franklin. Writing, Society and Culture in Early Rus. 950–1300. Cambridge, 2002.
- Черепнин 1969 — Л. В. Черепнин. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. М., 1969.
- Шмелев 2002 — А. Д. Шмелев. Русский язык и внеязыковая действительность. М., 2002.
- Штайнбауэр 1989 — R. Steinbauer. Rechtsakt und Sprechakt. Innsbruck, 1989.
- Юрасовский 1989 — А. В. Юрасовский. О соотношении пространной и краткой редакций “повести о Липицкой битве” // Древнейшие государства на территории СССР. 1987. М., 1989. С. 58–64.
- Янин 1991 — В. Л. Янин. Новгородские акты XII–XV вв. Хронологический комментарий. М., 1991.
- Янин 2001 — В. Л. Янин. У истоков новгородской государственности. Великий Новгород, 2001.
- Янин и Зализняк 1999 — В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские берестяные грамоты из раскопок 1998 г. // Вопросы языкознания. 1999, № 4. С. 3–27.
- Факкани 1995 — R. Faccani. Iscrizioni novgorodiane su corteccia di betulla. Udine, 1995.